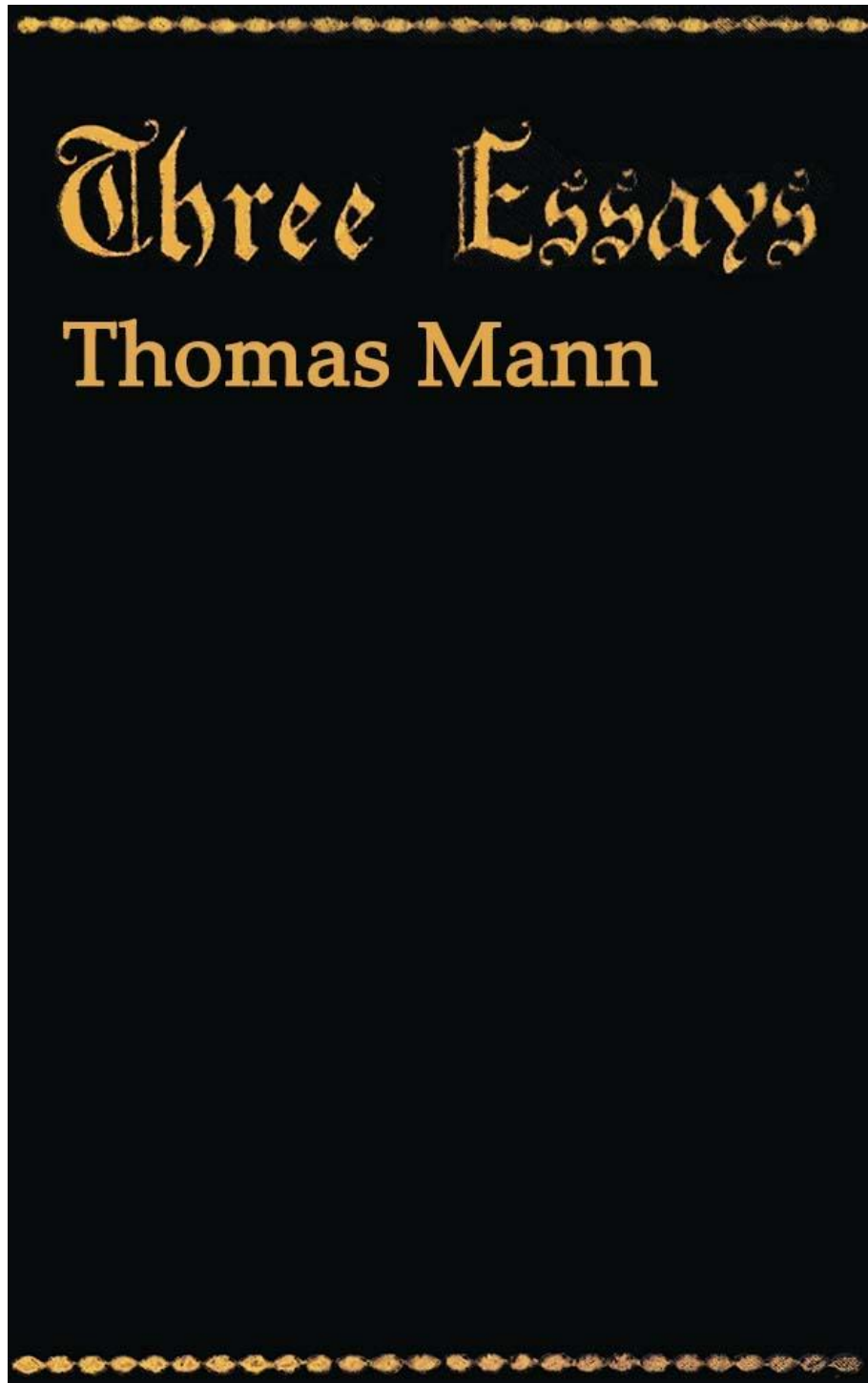


Три эссе

Томас Манн



Электронная книга проекта "Гутенберг" Три эссе

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Три эссе

Автор: Томас Манн

Переводчик: Х. Т. Лоу-Портер

Дата выхода: 7 сентября 2025 г. [Электронная книга №76837]

Язык: Английский

Оригинальная публикация: Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1922

Титры: Sean/IB@DP

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА" ТРИ ЭССЕ " ***

ТОМАС МАНН

ТРИ ЭССЕ

Перевод с немецкого Х. Т. Лоу-Портера

НЬЮ - ЙОРК · АЛЬФРЕД · А · КНОПФ
1929

АВТОРСКОЕ ПРАВО 1922, 1925 ГГ. S. FISCHER VERLAG, БЕРЛИН
АВТОРСКОЕ ПРАВО 1929 Г. ALFRED · A · KNOPF · INC.

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
ЭТОЙ КНИГИ ИЛИ ЕЕ ЧАСТЕЙ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ

ОПУБЛИКОВАНО ОКТЯБРЬ 1929 г.
ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ НОЯБРЬ 1929 г.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНО КАК

"Фридрих и великая коалиция" В "КРАСЕ И МУРАВЬЕ" И КАК *"Гете и Толстой"* и *"Культура Эрлебниссе"* В "БЕМЮХУНГЕНЕ"

ПРОИЗВЕДЕНО В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Содержание

Я · ГЕТЕ И ТОЛСТОЙ · 3

II · ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ И БОЛЬШАЯ КОАЛИЦИЯ · 143

III · ОККУЛЬТНЫЙ ОПЫТ · 219

Я

ГЕТЕ И ТОЛСТОЙ

ГЕТЕ И ТОЛСТОЙ

В начале нашего столетия в Веймаре все еще жил человек по имени Юлиус Штетцер и по призванию школьный учитель, который шестнадцатилетним студентом жил под одной крышей с доктором Эккерманом и всего в нескольких шагах от дома Гете. Молодой Штетцер, его школьный товарищ и сосед по квартире время от времени с бьющимися сердцами ловили отблески священной формы, когда старик сидел у своего окна. Но ребятами овладело желание хоть раз увидеть его поближе и хорошенько рассмотреть. Они обратились к его фамулусу, своему соседу по дому, и умоляли его тем или иным способом обеспечить им это благо. Эккерманн был доброй душой. Однажды летним днем он впустил мальчиков через заднюю калитку в сад знаменитого дома; и там, крайне смущенные, они стояли и ждали Гете, который, к их ужасу, действительно появился. Он прогуливался по саду в светлом домашнем халате — очень вероятно, в знаменитом фланелевом халате, о котором мы знаем, — и, увидев мальчиков, подошел к ним. Там он стоял, распространяя аромат одеколона, положив руки, конечно, на спину, а живот вперед; с тем видом отца города, под которым, как нам говорят, он скрывал свою застенчивость, — и спрашивал у молодых людей их имена и чего они хотят. Вероятно, все это на одном дыхании; что действительно, если бы это произошло таким образом, настолько усилило суровый эффект, что они едва смогли выдавить из себя ответ. Однако они что-то пробормотали, после чего старик велел им усердно выполнять свои задания — что они могли

свободно истолковать как означающее, что им лучше заняться ими, а не стоять здесь, разинув рты, - и пошел своей дорогой.

Вот и все - это случилось в 1828 году. —Тридцать три года спустя, однажды около часу дня, Штетцер — ныне опытный и преданный учитель средней школы — собирался вести второй урок сессии, когда ученик семинарии просунул голову в дверь и объявил, что незнакомец хочет видеть герра Штетцера. И без дальнейших церемоний незнакомец последовал за ним по пятам: мужчина значительно моложе школьного учителя, с жиденькой бородкой, выступающими скулами и маленькими серыми глазками с морщинками между густыми бровями. Он не стал представляться или как-то иначе отчитываться за себя, но просто и без обиняков спросил, какие уроки будут сегодня днем, и, услышав, что сначала история, а потом язык, заявил, что очень доволен. Он сказал, что посещал школы в южной Германии, Франции и Англии, а также стремился познакомиться с школами северной Германии. Он говорил как немец. Вы могли бы принять его за школьного учителя по его комментариям, его хорошо информированным, умным вопросам и по тому, как он продолжал записывать что-то в своей тетради. Он замолчал на весь урок. Дети написали тему, упражнение на какую-то тему в своих тетрадях; и незнакомец сказал, что эти сочинения его очень заинтересовали — не мог бы он забрать их с собой? “Боже мой, - подумал Штетцер, - это *is* наивно”. Кто должен был возместить детям стоимость их тетрадей? В конце концов, Веймар был бедным городом.... Он сказал это более вежливыми фразами. Но незнакомец ответил, что с этим можно справиться, и вышел. Штетцер отправил директору сообщение, в котором рассказал ему о необычном происшествии. И прилагательное, которое он использовал, было правильным — хотя только гораздо позже он понял, насколько это было правильно. Ибо в данный момент и на месте это не могло иметь для него большого значения, когда незнакомец вернулся со свертком писчей бумаги подмышкой и назвал свое имя Штетцеру и Директору: граф Толстой из России. Но школьный учитель Штетцер дожил до глубокой старости, и, следовательно, у него было достаточно времени, чтобы услышать о джентльмене, с которым он таким образом познакомился.

Итак, этот человек, проживший в Веймаре с 1812 по 1905 год и чья жизнь в остальном, без сомнения, была достаточно богата событиями, мог бы похвастаться одной исключительной привилегией: личным знакомством с Гете и Толстым, двумя великими людьми, имена которых составляют тему этого эссе. Да, Толстой был в Веймаре! Когда ему было тридцать три года - ибо он родился в год, когда состоялось интервью молодого Штетцера с Гете, — граф Лев Николаевич приехал в Германию из Брюсселя (где он, во—первых, встретился с Прудоном и был им убежден, что *закон собственности* - это *закон свободы*, а во-вторых, написал рассказ под названием *Поликушка*) и посетил город Гете. Как почетный гость российского посольства, он был допущен в дом на Фрауэнплан, который в то время не был открыт для публики. Однако нам говорят, что его больше интересовал детский сад Фребеля, которым руководил один из собственных учеников Фребеля, и он изучал его педагогическую систему с величайшим рвением и любопытством.

Вы, конечно, понимаете, почему я рассказал вам эту маленькую сказку. Я сделал это в надежде сделать более приятной букву “и” вверху страницы, которая, должно быть, заставила вас поднять брови при первом взгляде. Гете и Толстой. Что это за произвольное и неподобающее сочетание? Ницше однажды упрекнул нас, немцев, в странной неуклюжести в употреблении

слова “и”. Мы сказали “Шопенгауэр и Гартман”, — усмехнулся он; мы тоже сказали “Гете и Шиллер” - он очень боялся, что мы даже сказали “Шиллер и Гете”! Оставляя в стороне Шопенгауэра и Гартмана; что касается Гете и Шиллера, то крайне субъективная неприязнь Ницше к моралистами театральным деятелям не должна была вводить его в заблуждение настолько, чтобы отрицать связь, которая не менее значима из-за присущего ей типичного контраста, который она демонстрирует. Его лучшим выразителем, действительно, была его предположительно оскорбленная половина! Со стороны Ницше было опрометчиво, неоправданно автократично таким образом насмехаться и в своей насмешке ссылаться на орден за заслуги, который является и должен оставаться в высшей степени спорным, самой противоречивой вещью в мире. В целом, поспешность в решении именно этого вопроса из всех вопросов не свойственна немцам. Мы инстинктивно избегаем выставлять себя официально ни на той, ни на другой стороне. Мы предпочитаем политику свободных рук, и лично я тоже; и я намерен придерживаться этой политики, поддерживать и прославлять ее во всем, что за этим следует. Именно эта политика, и никакая другая, является значением союза, когда мы говорим “Гете и Шиллер”: там, где она превращает сочетание в антитезу и сочетается с намеренным противопоставлением. Всякий, кто когда—либо соприкасался со сферой немецкой мысли, представленной этим классическим эссе, которое охватывает все остальные и делает их излишними, — я имею в виду *“Наивное и сентиментальное разделение”* Шиллера, - не может не обнаружить, что это “и” глубоко противоположно. Другим точно подобным примером является соединение *“Толстой и Достоевский”*. С другой стороны, если мы откажем “и” в праве указывать на контраст и ограничим его функцию утверждением сущностного сродства, сущностного сходства — что тогда? Разве в нашем воображении сразу же не произошла бы смена партнеров? На глубоких интеллектуальных, нет, скорее, на глубоко естественных основаниях разве Шиллер и Достоевский не двигались бы вместе, а с другой стороны — Гете и Толстой?

Вы будете чувствовать себя далеко не удовлетворенным. Очевидно. Вы скажете: есть что-то помимо качества, есть положение, есть ранг. Вы скажете, что все делает честь антитезе, но вещи, которые так сильно различаются по степени величия, на самом деле не могут быть поставлены рядом подобным образом. Допустим, что один был европейским гуманистом и закоренелым язычником, в то время как другой был анархистом и в придачу примитивным восточным христианином. Но немецкий поэт мирового масштаба, чье имя отождествляют с высшим, с Данте, с Шекспиром, и писатель-реалист, который в нашу эпоху и не так давно закончил свою загадочную жизнь, и это действительно самым загадочным образом; говорить об этих двоих на одном дыхании — это просто не годится, это оскорбление аристократического инстинкта, это дурной тон.

Мы оставляем в стороне язычество одного и христианство другого. Давайте оставим их там — возможно, у нас найдется время вернуться к ним позже. Но что касается этого аристократического инстинкта, если вам угодно называть его так; позвольте мне прямо сказать, что я не только не оскорбляю его своей параллелью, но и оказываю ему явную честь. Вы уверены, что у вас нет иллюзий - вы уверены, что ваша точка зрения не искажена в этом вопросе о ранге и относительном величии? Тургенев в своем последнем письме Толстому, написанном на смертном одре в Париже, в котором он умолял своего друга вернуться к литературе и перестать мучить себя теологией, Тургенев был первым, кто присвоил Толстому титул “великого писателя России”, который он носит с тех пор и который, по-видимому, означает, что он занимает в глазах своих соотечественников то же положение, что автор *Фауста* и *Вильгельма*

Мейстера у нас. Сам Толстой, как мы уже говорили, был христианином до мозга костей. И все же его смирение не было настолько преувеличенным, чтобы помешать ему смело поставить свое имя рядом с величайшими, да, рядом с легендарными великими. Он сказал о *“Войне и мире”*: “Скромность в сторону, это что-то вроде *“Илиады”*”. Было слышно, как он говорил то же самое о своей самой ранней работе *“Детство, отрочество, юность”*. Была ли это мания величия? Для меня, честно говоря, это звучит как простой факт. *“Nur die Lumpe,” says Goethe, “sind bescheiden.”* Языческая поговорка. Но Толстой под ней подписался. Он всегда видел в себе героическое величие; и уже в тридцать семь лет, записывая в своем дневнике, он поставил свои собственные произведения, законченные и которые еще предстоит написать, в один ряд с великой литературой мира.

Итак, по мнению тех, кто компетентен это выносить, великий писатель России; по его собственной оценке, Гомер своего времени - но это еще не все. После смерти Толстого Максим Горький опубликовал небольшую книгу воспоминаний, лучшую, по моему скромному мнению, книгу, которую он написал. Оно заканчивается словами: “И я, не верующий в Бога, робко посмотрел на него, по какой-то темной причине посмотрел на него и подумал: Этот человек богоподобен”. Богоподобен. Необыкновенен. Никто никогда не говорил и не думал так о Достоевском, никто никогда не смог бы подумать или сказать этого. Его называли святым; и можно было бы со всей искренностью применить это слово к Шиллеру, по крайней мере, в христианском смысле, который оно всегда должно обозначать, хотя бы и без специфически византийского привкуса. Но Гете и Толстой, эти двое, были признаны богоподобными. Эпитет “олимпийский” является обычным явлением. Однако Гете применил это к себе не только как к всемирно известному старику с выдающимся интеллектом; именно тогда, когда он был еще молод, еще тем юношей, о божественном, неотразимом взгляде которого пел Виланд, он обладал этим качеством, которым его тысячу раз наделяли его собственные современники. Ример рассказывает, что в шестьдесят лет старик воспользовался случаем, чтобы довольно едко поиздеваться над этим. “Черт возьми, уподобься богу”, - воскликнул он. “Какая мне польза от того, что люди говорят: “Это богоподобный человек”, когда япрохожу мимо? Они ведут себя так, как им нравится, они навязывают мне то же самое. Люди называют человека богоподобным только тогда, когда он позволяет им поступать по-своему!” — Что касается Толстого, то нельзя сказать, что он был Олимпийцем; он, конечно, не был гуманистическим богом. Горький говорит, что он был больше похож на какого-то русского бога, восседающего на кленовом троне под золотой липой; тогда он был язычником, с некоторым отличием, по сравнению с веймарским Зевсом, но тем не менее язычником, потому что боги *есть* язычники. Почему? Потому что они имеют ту же сущность, что и природа. Не нужно быть последователем Спинозы — каким был Гете, и у него были на то свои веские причины, — чтобы ощущать Бога и Природу как единое целое, а благородство, даруемое природой, - как богоподобие. “Его сверхчеловечески развитая индивидуальность - чудовищное явление, почти отталкивающее, в нем есть что-то от легендарного Святогора, которого не может вместить земля”. Таким образом, Горький о Толстом. И я цитирую его в этом вопросе об относительном величии. Горький, например, продолжает: “В нем есть что-то такое, от чего мне всегда хочется крикнуть: ‘Смотрите, какой удивительный человек живет на этой земле!’ Потому что он, так сказать, в целом и превышает всего остального - человеческое существо, мужчина”. Это звучит как нечто, что мы слышали раньше. Это напоминает нам — кого?

Нет, вопрос ранга, аристократическая проблема, вообще не является проблемой в той группе, которую я выбрал. Оно становится единым только тогда, когда мы меняем партнеров: когда мы

берем святое человечество и соединяем его посредством антитетического союза с богоподобным; когда мы говорим “Гете и Шиллер”, “Толстой и Достоевский”. Только тогда, я думаю, мы ставим вопрос об аристократии, проблеме этики и эстетики: что больше? Что более аристократично? Я не буду отвечать ни на один из этих вопросов. Я позволю читателю прийти к своему личному заключению в этом ценном вопросе в соответствии с его собственным вкусом. Или, выражаясь менее бойко, в соответствии с его представлением о человечности, которое — я должен добавить, *вполголоса* — должно быть односторонним и неполным, чтобы допустить его принятие какого-либо решения вообще.

Разве не странно слышать, что один человек знал их обоих, создателя *Фауста* и “великого писателя России”? Ибо, конечно, они принадлежали к разным векам. Жизнь Толстого охватывала большую часть девятнадцатого века. Он, безусловно, его сын. Как художник, он демонстрирует все ее характеристики, как, впрочем, и характеристики ее второй половины. Что касается Гете, то его породил восемнадцатый век, и к нему принадлежат существенные черты его характера и воспитания — утверждение, которое было бы очень легко обосновать. Но, с другой стороны, можно было бы сказать, что в Толстом сохранилось столько же от восемнадцатого века, века Гете, сколько уже пришло к рождению толстовского, девятнадцатого, века в Гете. Рационализирующее христианство Толстого имеет больше общего с деизмом восемнадцатого века, чем с неистовой и мистической религиозностью Достоевского, которая была полностью присуща девятнадцатому веку. Его система практической религии, сутью которой была разрушительная интеллектуальная сила, подрывающая все предписания, человеческие и божественные, имела больше общего с социальной критикой восемнадцатого века, чем сморализациями Достоевского, хотя они были, с одной стороны, гораздо более глубокими, с другой — гораздо более религиозными. И на *склонность* Толстого к утопиям, на его ненависть к цивилизации, на его страсть к деревенщине, к буколическому спокойствию души — аристократическую страсть, страсть дворянина — на все это может претендовать восемнадцатый век, да и вообще французский восемнадцатый век. И, с другой стороны, Гете. Что больше всего поражает нас в этом шедевре его старости, социологическом романе *“Вильгельм Мейстерс Вандерджаре”*, так это интуиция, острота и широта видения — они кажутся положительно оккультными, но на самом деле являются просто выражением более тонкого организма, плодом самого тонкого проникновения — которые предвосхищают все социальное и экономическое развитие девятнадцатого века: индустриализацию старых культурных и аграрных стран, триумф машины, подъем организованных трудящихся классов, классовый конфликт, демократию, социализм, сам американизм с интеллектуальными и образовательными процессами. последствия всего этого.

Но в конце концов, каким бы ни было хронологическое родство этих двух великих людей, их нельзя назвать современниками. Всего четыре года они вдвоем прожили в этой брэнной сфере: с 1828 года, когда родился Толстой, до 1832 года, когда умер Гете. Что не мешает им иметь один общий культурный элемент в их интеллектуальном и духовном облике, причем очень реальный и позитивный, не говоря уже об общечеловеческих элементах, таких как Гомер и Библия. Я имею в виду стихию Руссо.

“Я прочитал всего Руссо, все двадцать томов, включая "Музыкальный словарь". То, что я чувствовал к нему, было больше, чем энтузиазм; это было поклонение. В пятнадцать лет я носил на шее вместо обычного распятия медальон с его изображением. Я так хорошо знаком с некоторыми отрывками из его произведений, что мне кажется, будто я написал их сам”. Это слова Толстого, взятые из его *Исповеди*. И, конечно, он был последователем Руссо более глубоко, более лично, так сказать, более разрушительно, чем Гете, который как человек не имел ничего общего с загадочными и не всегда располагающими к себе сложностями бедного Жан-Жака. И все же послушайте Гете (я цитирую из ранней рецензии): “Религиозные условия и социальные условия, столь тесно связанные с ними; давление законов, еще большее давление общества, не говоря уже о тысяче других факторов, не оставляют цивилизованному человеку или цивилизованной нации собственной души. Они подавляют побуждения природы, они стирают все черты, из которых можно было бы составить характерную картину”. То есть, с литературной точки зрения, *Штурм и сражение*. Но с интеллектуальной и исторической точки зрения это руссоизм. Это несет на себе отпечаток революции, даже анархии; хотя в русском искателе Бога этот отпечаток религиозный и раннехристианский, тогда как в словах Гетечувствуется гуманистическая тенденция, излучение культурного и саморазвивающегося индивидуализма, который Толстой запретил бы как эгоистичный и нехристианский. Но нехристианским, эгоистичным это не является: это означает работу над человеком, над человечеством, над человечностью, и это проявляется, как показывает *Вандерджаре*, в социальном мире.

Какие две идеи неизбежно вызывает само звучание имени Руссо - помимо идеи природы, которая, конечно, является первой и первостепенной? Почему, естественно, возникла идея “образования” и идея “автобиографии”. Жан-Жак Руссо был автором “*Эмиля*” и “*Признаний*”. И так, оба этих элемента, педагогический и автобиографический, присутствуют в полной мере у Гете, как и у Толстого; их нельзя отделить от творчества или жизни того и другого. В этом эссе Толстой представлен как педагог-любитель; и мы знаем, что долгие годы он был никем иным, что он направил в это русло всю силу своей страсти, которая была в нем, и до изнеможения боролся теоретически и практически с проблемой русской начальной школы. Что касается Гете, то нет нужды говорить, что он был педагогической натурой в самом полном смысле этого слова. Два великих памятника его жизни, один в стихах, другой в прозе, *Фауст* и *Вильгельм Мейстер*, являются творческими трактовками темы образования. И в то время как в “*Лерьяре*” идея по-прежнему заключается в том, что индивид формирует себя сам — “ибо сформировать себя таким, какой я есть, с юности было моей целью и моим желанием”, - говорит Вильгельм Мейстер, - в “*Вандерьяре*” образовательная идея объективирована и находит отражение в социальных и даже политических концепциях; в то время как в основе работы, как вы знаете, лежит суровая и прекрасная утопия педагогической провинции.

Вторую ассоциацию, автобиографическую, исповедальную, конечно, легко засвидетельствовать у обоих авторов. То, что все произведения Гете представляют собой “фрагменты одной великой исповеди”, мы должны знать сами, даже если он нам этого не говорил; и разве “*Дихтунг унд Вархейт*” не является *Исповедью* святого Августина и Руссо самой известной автобиографией в мире? Что ж, и Толстой тоже написал “исповедь”: я имею в виду, в основном, книгу с таким названием, на всем протяжении выстроенную в линию великих самораскрытий, которая простирается от африканского святого до Стриндберга, сына

служанки. Но Толстой находится в том же положении, что и Гете: не только благодаря одной книге он автобиографичен. Начиная с *детства*, *Отрочества*, *Юности*, на протяжении всего своего творчества он автобиографичен до такой степени, что позволяет Мережковскому, великому русскому критику, сказать: “Художественное творчество Льва Толстого - это, по сути, не что иное, как один потрясающий дневник, который велся пятьдесят лет, одна бесконечная откровенная исповедь”. Да, и этот критик добавляет: “В литературе всех времен и народов вряд ли найдется второй пример автора, который раскрывает свою личную жизнь, часто в ее самых интимных аспектах, с такой открытой искренностью”. Добросердечный.... Возможно, мне будет позволено прокомментировать этот несколько эвфемистичный эпитет. Если бы кто—то хотел проявить зависть, можно было бы использовать другое прилагательное для характеристики этой искренности - прилагательное, которое подсказывало бы, что имел в виду Тургенев, когда однажды иронически упомянул о недостатках, неизбежных в великом писателе: под этим, очевидно, он подразумевал отсутствие определенных ограничений, отсутствие обычной сдержанности, осмотрительности, порядочности, стыда или, с положительной стороны, доминирование определенной претензии на любовь к миру — абсолютной претензии, на самом деле, в том смысле, что разоблачителю все равно, раскрывает ли он добродетели или пороки. Он жаждет, чтобы его знали и любили, любили потому, что знают, или любили *несмотря на* известность; вот что я подразумеваю под абсолютным притязанием на любовь. И самое замечательное, что мир признает и уважает это утверждение.

“В основе романтической жизни всегда лежит любовь к себе”. Мне нравится это высказывание; и добавлю, что любовь к себе также всегда лежит в основе любой автобиографии. Ибо импульс, который испытывает человек “зафиксировать” свою жизнь, показать ее развитие, воспеть свою собственную судьбу в установленной литературной форме и страстно вызвать сочувствие своих современников и потомков, имеет в качестве предпосылки то же необычайно живое чувство собственного эго, которое, согласно этому пронизательному высказыванию, лежит в основе жизни, полной романтических событий. Субъективно, для самого человека, но также и объективно для мира в целом. Конечно, эта любовь к себе - нечто иное, нечто более сильное, глубокое, плодотворное, чем любое простое самодовольство или себялюбие обычного рода. В лучших случаях это то, что Гете в “*Странствиях*” называет “*Эрфурхт для зельбста*” и воспевает как высшую форму благоговения. Это благодарная и благоговейная погруженность в себя любимца богов, которая с ни с чем не сравнимой искренностью звучит в строках:

Alles geben die Götter, die unendlichen,

Ihren Lieblingen ganz:

Alle Freuden, die unendlichen,

Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.

Это гордый и наивный интерес к тайне высокого положения, ощутимого превосходства, опасной привилегии, знаменосцем которой чувствует себя избранный; это страстное желание из глубины опыта свидетельствовать о том, как формируется гений; желание соединиться каким-то чудом благодати, радости и служения; именно это желание породило *Дихтунг* и *Ваххейт* и в самом прямом смысле вдохновляет все великие автобиографии.

“Я чувствовал потребность, - пишет Толстой о периоде своей юности, - быть известным и любимым во всем мире; *назвать свое имя*, звук которого произвел бы на всех сильное впечатление, чтобы они столпились вокруг меня и поблагодарили меня за что-нибудь...” Это было довольно рано, еще до того, как он задумал какую-либо из своих творческих работ или вынашивал идею основать новую, практичную, земную, лишенную догм религию — хотя эта идея, согласно его дневнику, пришла ему в голову, когда ему было двадцать семь лет. Он чувствует, что его имя, одно только его имя, Лев Толстой, эта формула для его темного и сильно волнующегося эго, должно, так сказать, привлечь внимание всего мира; благодаря чему, по какой-то пока неизвестной причине, мир должен быть сильно впечатлен и чувствовать побуждение окружить его благодарными толпами. Много позже, в 1883 году — примерно в то же время, когда Толстой позировал другу—художнику, сидя за своим столом и что-то сочиняя, - он читает вслух другому другу и почитателю, бывшему офицеру Черткову, рукопись своих только что завершенных личных откровений *В чем состоит моя вера?* Он читает из этой рукописи категорическое осуждение военной службы на основании своего христианства; это настолько радует бывшего офицера, что он больше ничего не слышит, перестает слушать и выходит из задумчивости только тогда, когда внезапно слышит собственное имя читателя. Толстой, подходя к концу своей рукописи, с особой ясностью, по словам Черткофа, произнес имя, подписанное под текстом: “Лев Толстой”.

Однажды Гете разыграл небольшую литературную мистификацию со своим собственным именем, что я всегда находил необычайно трогательным. Вы помните, что в “*Западно-остлихском диване*” он выбрал для себя в качестве любовника Марианны Зулейки имя Хатем (наиболее щедро дающий и принимающий). Этот выбор выдает блаженную озабоченность собой. Так вот, в одном из стихотворений, великолепном, он использует это имя в конце строки, где, однако, оно рифмуется не так, как следовало бы по структуре стиха, а имя, которое рифмовалось бы, если бы оно стояло там, было другим, собственным именем Гете; так что читатель невольно мысленно производит замену во время чтения. “*Nur dies Herz*”, - говорит уже седовласый любовник юной возлюбленной,

“Nur dies Herz, es ist von Dauer,

Schwillt in Jugendlichem Flor;

Unter Schnee und Nebelschauer

Rast ein Ätne dir hervor.

Du beschämst wie Morgenröte

Jener Gipfel ernste Wand,

Und noch einmal fühlet Hatem

Frühlingshauch und Sommerbrand.”

“*И ночь эйнмала фюле Гете...*” С какой восхитительной игривостью поэт заставляет читателя исключить имя Хатем, которое не дает рифмы, ожидаемой его ухом! Восточный маскарад заменен автобиографией, ухо обманывает глаз, и собственное имя Гете, возлюбленное людьми и богами, всплывает с особой ясностью, рифмованное до совершенства и озаренное самым прекрасным, что может показать чувственный мир: розовой зарей.

Можно ли назвать это “*Selbstgefälligkeit*”, то благоговейное чувство полноты, безудержного изобилия, которое пронизывает сознание любимца богов? Гете всю свою жизнь выступал против наигранности, которая могла бы осудить такое чувство. Он дал понять, что, по его мнению, самоосуждение - дело тех, у кого нет оснований ни для чего другого. Он даже открыто произнес хорошее слово в адрес обычного тщеславия и сказал, что подавление его означало бы социальный упадок, добавив, что тщеславный человек никогда не может быть полностью грубым. Отсюда следует вопрос: отличается ли когда-нибудь любовь к себе от любви к человечеству?

Wie sie sich an mich verschwendet,

Bin ich mir ein wertres Ich;

Hätte sie sich weggewendet,

Augenblicks verlör' ich mich.

И разве мечта молодого Толстого о славе, его жажда быть известным и любимым не являются свидетельством его любви к великому Тебе мира сего? Любовь к эго и любовь ко всему миру психологически неразрывны; это делает старый вопрос о том, является ли любовь когда-либо альтруистической, а не полностью эгоистичной, самым праздным вопросом в мире. В любви противоречие между эгоизмом и альтруизмом полностью устраняется.

Из чего следует, что автобиографический импульс едва ли когда-либо оказывается простой дилетантской шуткой. Кажется, в нем есть свое оправдание. Талант, вообще говоря, - это щекотливое, трудное понятие; смысл которого на самом деле заключается не столько в том, может ли человек что-то *сделать*, сколько в том, является ли человек *чем-то-то*. Можно было бы почти сказать, что талант - это не что иное, как высокая степень соответствия своему жребия в жизни. Но чья жизнь обладает этим достоинством перед лицом судьбы? Обладая умом и чувствительностью, из любой жизни можно сделать что угодно, из любой жизни можно создать романтическое существование. В отличие от чисто поэтического порыва, который так часто основывается на чистом самообмане, автобиографическое, как кажется, всегда предполагает определенную степень ума и чувствительности, которые заранее оправдывают его; так что ему достаточно стать продуктивным, чтобы быть уверенным в нашем сочувствии. Отсюда вывод, который я сделал: если мир одобряет любовь к себе, которая лежит в основе импульса, он, как правило, откликается и на нее.

“Смотрите, какое чудесное создание живет на этой земле!” Горький, размышляя о Толстом, издает этот внутренний крик. И именно к этому крику стремится подтолкнуть мир вся биография. Любую человеческую жизнь, наделенную умом и чувствительностью, можно сделать интересной и вызывающей сочувствие, даже самую несчастную. Ж.-Ж. Руссо не совсем соответствовал представлению о любимце богов. Отец Французской революции был несчастным человеком, наполовину или на три четверти сумасшедшим и, вероятно, самоубийцей. Конечно, смесь чувствительности и катара мочевого пузыря, показанная в *Признаниях*, с эстетической точки зрения, не всем по вкусу. Тем не менее, его саморазоблачение содержит в себе претензию на любовь к миру, которая была так щедро почтена, с таким количеством слез, что действительно можно было бы назвать бедного Жан-

Жака всеми любимым, *ле бином эме*. И этим всемирным эмоциональным откликом он обязан своей связи с природой — скорее односторонней связи, следует признать, ибо, безусловно, этот гениальный дурак, этот эксгибиционист-потрясатель мира был пасынком Всемогущей Матери, а не одним из ее питомцев, случайным рождением, а не дарованным богом чудом благосклонности и предпочтения. Его отношение к природе было сентиментальным в самом полном смысле этого слова, и рассказ о его жизни прокатился по миру волной сентиментальности, если не сказать сентиментальности. Бедный Жан-Жак!

Нет, не в таком тоне говорится о тех двоих, которых люди называли богоподобными, божественными; в которых, как мы видели, воспроизведены важные черты характера Руссо. Ибо они не были сентиментальны, у них едва ли был повод тосковать по природе, они сами были природой. Их связь с ней не была односторонней, как у Руссо, а если и была, то это природа любила их, своих любимцев, любила их и цеплялась за них, в то время как они, со своей стороны, отстранялись и стремились освободиться от ее тяжелого и земного господства; надо сказать, с безразличным успехом, глядя на них как по отдельности, так и вместе. Гете признается: “И вот я здесь, со всеми моими тысячами мыслей, отправленный обратно, чтобы снова стать ребенком, незнакомым с настоящим моментом, в темнотеотносительно самого себя”. И Шиллеру, певцу высшей свободы, он пишет: “Каким большим преимуществом будет для меня ваша симпатия и интерес, вы скоро увидите, когда обнаружите во мне своего рода вялость и мрачность, которые сильнее меня самого”. И все же мы можем согласиться с тем, что в высшей степени гуманистическое усилие Гете “преобразовать мутный природный продукт в ясный образ самого себя (то есть разума) и таким образом выполнить долг и требование существования”, как необычайно красиво выразился Ример, увенчалось более чистым успехом, чем попытка графа Льва Николаевича Толстого превратить свою жизнь в святую жизнь нашего благословенного отца Боярина Льва, как говорит Горький. Этот процесс превращения себя в христианина исвятого со стороны человека и художника, настолько любившего природу, что она наделила его богоподобием, был, как попытка духовного возрождения, крайне неумелым. Англосаксонский мир приветствовал это с восторгом, но, в конце концов, зрелище скорее болезненное, чем приятное, по сравнению с высокими устремлениями Гете. Ибо между природой и культурой нет конфликта; вторая только облагораживает первую, она не отвергает ее. Но методом Толстого было не облагораживание, а отречение от самого себя, и это довольно легко может стать самым унижительным видом обмана. Верно, что Гете на определенном этапе своего развития называл *Гетца* творчеством недисциплинированного мальчика; но никогда он так по-детски и жалко не клеветал на свое собственное искусство, как это делал стареющий Толстой, когда сожалел о том, что написал “*Детство, отрочество, юность*”, плод своей свежей юношеской энергии, осуждая его как неискренний, литературный, греховный труд; или, когда он широко говорил о “художественной болтовне”, которая заполнила двенадцать томов его сочинений и к которой “люди привыкли”. сегодня ему приписывают незаслуженное значение”. Это то, что я называю ложным самоотречением, неуклюжей попыткой одухотворения. И все же, как бы он ни отрекался от себя на словах, само его существование выдавало его ложь; и Горький посмотрел на него, на патриарха с “лукавой” улыбочкой и на руки художника с набухшими венами, и подумал про себя: “Этот человек богоподобен”.

Веймар и Ясная Поляна. Сегодня на земле нет места, откуда исходила бы сила, как когда-то от этих двоих, нет мощного святилища, пристанища паломников, куда устремлялись бы

стремления и смутные надежды людей, их нужды и жажда поклонения, как это было в начале девятнадцатого и начале двадцатого веков. У нас есть описания состояния, в котором пребывал Гете в Веймаре; когда он, теперь уже не просто создатель определенных произведений искусства, но принц жизни, высший представитель европейской культуры, цивилизации и человечности, со своим штатом секретарей, высших помощников и ревностных друзей за спиной, с тем незапятнанным официальным достоинством, которое предписывал ему мир и за которым он скрывал тайны и бездны своего гения, противостоял надвигающейся волне цивилизованного человечества — принцев, художников, молодежи и деревенщин, для которых сознание того, что они были убиты, было невыносимо. удостоенный одного взгляда на него человек мог бы озолотить всю оставшуюся жизнь, даже несмотря на то, что сам этот великий момент мог обернуться леденящим разочарованием, и часто так и было. Во многом таким же образом, говорю я, примерно в 1900 году малороссийская деревня стала центром и узловой точкой, святыней, ценность которой была такова, что она привлекала весь мир. Толпа паломников была еще более пестрой, более интернациональной, более разнородной; ибо в течение столетия расширились связи, мир расширился. Южноафриканцы, американцы, японцы, австралийцы, уроженцы Малайского полуострова, сибирские беженцы и индийские брахманы, представители всех европейских наций, ученые, поэты, художники, государственные деятели, губернаторы, сенаторы, студенты, военные, рабочие, крестьяне, французские политики, журналисты всех мастей, из каждой страны земного шара; и снова молодежь, молодежь со всего мира. “Кто не ходит к нему?” - спрашивает русский писатель. “Чтобы поприветствовать его, выразить сочувствие его идеям, попросить облегчения от мучительных проблем”. А его биограф Бирюков говорит: “Все они, как один, отправляются в эту деревню, а затем расходятся по домам, чтобы рассказать о великих словах и великих мыслях седого старого провидца, который там живет”.

“Великие слова и великие мысли”. Конечно. Но вполне вероятно, что слова и мысли, которыми потчевал их пророк, не всегда были такими замечательными. Как и у Гете; из-за явного смущения он мог не сказать великих вещей тем, кто ему прислуживал. Но это вопрос, ездили ли люди когда-нибудь в Веймар или в деревню под названием “Светлый луг” ради великих слов и мыслей, которые они могли бы случайно услышать, или ими руководила гораздо более глубокая и стихийная жажда. Меня обвинят в мистицизме, если я скажу, что притягательность таких святынь для всего мира, так что люди обещают себе спасение от их посещения, носит вовсе не интеллектуальный характер, а нечто совершенно иное. “Элементарный” - единственное подходящее для этого слово. Что касается Гете, я могу процитировать Вильгельма фон Гумбольдта, который заявил через несколько дней после смерти учителя, что самым странным из всего было то, что этот человек оказал столь мощное влияние, как бы неосознанно, непреднамеренно, самим фактом своего существования; это, по его словам, совершенно независимо от его интеллектуальной деятельности как мыслителя и поэта и как следствие его великой и уникальной личности. Ну и отлично. Но, в конце концов, мы используем слово “личность”, когда хотим выразить идею, которая, по сути, не поддается определению. Личность — это не вопрос разума или духа, и еще не вопрос культуры. Наша концепция этого - такая, которая выводит нас за пределы области рационального, в сферу мистического и элементарного, в сферу *естественного*. “Великая природа” — это еще одна фраза, которую мы используем в наших попытках найти формулу и символ, которые выражали бы силу, изливающуюся наружу и притягивающую к себе мир. Но природа - это не дух; на самом деле, я бы сказал, что эта антитеза является величайшей из всех антитез. Горький не только не верил в

христианское, буддийское, китайское евангелие мудрости Толстого, он даже не верил, что Толстой верил в это. И все же он смотрел на него и с изумлением думал: “Этот человек подобен Богу”. Не дух, а природа побудила его к этому внутреннему крику. И когда паломники толпой направлялись в Веймар и на “Яркий луг”, освежение и оживление, на которые они смутно надеялись, были не от ума; это было зрелище и соприкосновение с огромной жизненной энергией, с богато одаренной человеческой природой, с высоким благородством возлюбленного Божьего дитя. Ибо не нужно быть Спинозистом, подобно Гете, у которого были свои веские причины быть им, чтобы приветствовать любимцев природы как любимцев Бога.

Шиллер, каким бы великим страдальцем он ни был, был добрее, человечнее к своим посетителям. Об этом мы узнаем, например, от актера Фридриха, который говорит, что оставил этого славного поэта “более утешенным” после того, как незадолго до этого, фигурально выражаясь, простудился на аудиенции на Фрауэнплан. “Весь облик Гете, ” продолжает он, “казался размеренным и формальным. Я тщетно искал черту, которая выдавала бы гениального создателя *“Горестей Вертера”* или *“Вильгельма Мейстера Лерьяра”*. Вы можете себе представить, как меня отпугнул этот холодный прием и недружелюбное обращение, настолько это противоречило всем моим ожиданиям. Как бы мне хотелось сказать Гете: ‘Что ты за изваяние? Невозможно, чтобы ты мог написать *Lehrjahre*. Но я подавил это ’. Вспоминается московский джентльмен, с которым Горький уезжал из Ясной Поляны: он долго не мог отдышаться, только грустно улыбался и восклицал, как в оцепенении: “Ну и ну, это был холодный душ! Боже милостивый, но он такой чопорный! А я думал, он анархист!” Возможно, даже вероятно, если бы он посетил Достоевского, он нашел бы его более анархичным — другими словами, менее “чопорным” — и расстался бы с ним “более утешенным”, как это сделал добрый Фридрих из славного Шиллера, который даже позволил Фридриху читать ему наизусть. С другой стороны, ни гений Шиллера, ни гений Достоевского не превратили бы любой отдаленный уголок земли в святыню для паломников. Во всяком случае, ни один из них не прожил для этого достаточно долго. Они умерли слишком молодыми, они не достигли патриархальных лет Гете и Толстого, природа отказала им в достоинстве и посвящении, свойственных преклонному возрасту, она не даровала им быть характерно плодотворными на всех этапах человеческой жизни, прожить цельную и классическую человеческую жизнь. Правда, можно сказать, что достоинство, которое приходит с продолжительностью дней, не имеет ничего общего с духом. Седобородый может быть глупым и заурядным; и все же люди с религиозным благоговением относятся к его седым волосам и морщинам; это природное благородство, даруемое долгими годами, но природное благородство, вероятно, является плеоназмом. Благородство всегда естественно. Люди не облагорожены, это вздор; они благородны по рождению, по своей плоти и крови. Таким образом, благородство носит физический характер: благородство всегда оказывало наибольшее воздействие на тело, а не на разум. Это может объяснить определенный оттенок жестокости, который всегда был присущ благородному человеку. И не есть ли в этом тоже что-то по-своему жестокое, языческое, сагалоподобное, в той высокомерной манере, которой Гете иногда хвастался своей жизнестойкостью, своей несокрушимостью? Когда ему был восемьдесят один год, он сказал Соре: “Что ж, значит, Земмеринг мертв. Ему едва исполнилось жалкие семьдесят пять лет! Какие же бедняги мужчины, раз у них не хватает храбрости продержаться дольше этого! На этот счет я действительно должен отдать должное этому крайне радикальному ослу, моему другу Бентаму; он довольно хорошо сохранился, и он на несколько недель старше меня самого!”

Итак, Шиллер и Достоевский, возвращаясь к ним, не были удостоены облагораживания, которое приходит с годами. Они умерли сравнительно молодыми. Почему? Ну, потому что они были больными людьми, как всем известно, оба; один чахоточный, другой эпилептик. Но я поднимаю два вопроса: во-первых, не чувствуем ли мы, что их болезнь была глубоко заложена в самом существе этих двоих, что было существенной и типичной чертой того типа людей, которыми они были? И, во-вторых, не кажется ли, что в их случае сама болезнь порождает или выявляет благородство, резко отличающееся от той любви к себе и автобиографической гордости происхождением, которая является частью их полного осознания собственного эго? Благородство Шиллера и благородство Достоевского означают совершенно разный вид углубления и возвышения их человечности — да, их *человечности*, ввиду чего разве болезнь не предстает именно как аристократический атрибут возвышенной человечности? Из этого следует, что фраза “естественное благородство”, в конце концов, не является плеоназмом; что действительно существует другой вид благородства, помимо того, которым природа наделила своих любимых сыновей. Очевидно, что есть два способа возвышения человеческих ценностей: один возвышает их до богоподобия и является даром благодати природы; другой возвышает их до святости по милости другой силы, которая противостоит ей и означает освобождение от нее, вечный бунт против нее. Эта другая сила - сила духа. Но вопрос, какая из этих двух проблем выше, какой вид приумножения человеческих ценностей благороднее, - это то, что я назвал аристократической проблемой.

Здесь, при всей сдержанности, будет уместно немного философии болезни. У болезни два лица и двойное отношение к человеку и его человеческому достоинству. С одной стороны, это враждебно: перенапрягая физическое, отбрасывая человека назад, в его тело, это оказывает дегуманизирующее действие. С другой стороны, можно думать и чувствовать о болезни как о в высшей степени достойном человеческом явлении. Возможно, мы заходим слишком далеко, утверждая, что болезнь - *это* дух, или, что прозвучало бы очень тенденциозно, что дух - это болезнь. Тем не менее, у этих двух концепций действительно много общего. Ибо дух - это гордыня; это умышленное отрицание и противоречие природе; это непривязанность, уход, отчуждение от нее. Дух - это то, что отличает от всех других форм органической жизни это создание - человека, это существо, которое в такой высокой степени независимо от нее и враждебно ей. И вопрос, аристократическая проблема заключается в следующем: не является ли он тем более человеком, чем более он оторван от природы, то есть тем более он болен? Ибо чем может быть болезнь, если не отрывом от природы? “*Tut der Finger dir weh,*” says Hebbel epigrammatically, “*schied er vom Leibe sich ab,*

Und die Säfte beginnen, im Gliede gesondert zu kreisen:

Aber so ist auch der Mensch, fürcht' ich, ein Schmerz nur in Gott.”

Разве не Ницше назвал человека “*ранкским ярусом*”? Что он имел в виду, если не то, что человек больше, чем животное, только той мере, в какой он болен? Таким образом, в духе, в болезни, заключается достоинство человека; и гений болезни более человечен, чем гений здоровья.

Вы будете отрицать это; вы не согласитесь, чтобы это было так. Но, во-первых, болезнь, как философский термин, ни в коем случае не является отрицанием и осуждением. Это всего лишь утверждение, которое должно быть не менее приемлемым, чем термин “здоровье”, поскольку благородство болезни так же велико, как благородство здоровья. И, во-вторых, могу ли я

напомнить вам, что Гете отождествлял шиллеровскую концепцию “сентиментального” с концепцией болезни? То есть после того, как он ранее отождествил антитезу “простого и сентиментального” с антитезой классического и романтического. “Концепция классической и романтической поэзии, ” сказал он однажды Эккерману, “ которая сегодня распространена за границей и вызывает столько раздоров и раскола, изначально исходила от Шиллера и от меня. Моей поэтической максимой была объективность обращения, и я хотел, чтобы она восторжествовала. Но Шиллер, чей метод полностью субъективен, считал свой путь правильным и написал ”Эссе о простой и сентиментальной поэзии” в защиту своей концепции “. И снова: “Я придумал новую фразу, которая не так уж плохо описывает связь между классикой и романтикой. Классику я называю здоровой, романтика - больной. Если мы будем различать классику и романтизм на этой основе, то вскоре проясним ситуацию ”.

Таким образом, здесь мы имеем порядок вещей, согласно которому, с одной стороны, простое, объективное, звучащее и классическое тождественно; и, с другой стороны, “сентиментальное”, субъективное, патологическое, романтическое. Таким образом, человека можно было бы назвать романтическим существом, поскольку он, духовная сущность, стоит вне природы и неподвластен ей, и в этом его эмоциональном отделении от нее, в этой его двойной сущности природы и духа, находит как свою собственную значимость, так и свое собственное страдание. Природа счастлива, или ему так кажется. Ибо он, вовлеченный в трагический парадокс, является романтически несчастным существом. Разве вся наша любовь к себе подобным не зиждется на братском, сочувственном признании почти безнадежно трудного положения человека? Да, у человечества есть патриотизм, и он зиждется на следующем: мы любим людей за то, что им так тяжело — и за то, что мы сами одни из них!

Толстой в своих *Признаниях* отмечает, что в детстве он ничего не знал о природе, он даже не замечал ее существования. “Это невозможно, ” говорит он, “ чтобы мне не дали поиграть ни с цветами, ни с листьями, чтобы я не видел травы или солнечного света. И все же до моего пятого или шестого года я не помню того, что мы называем природой. Вероятно, нам нужно освободиться от нее, чтобы увидеть ее, и я сам был природой ”. Из чего можно сделать вывод, что даже простое созерцание природы и наше так называемое наслаждение ею являются не только специфически человеческим состоянием, но и состоянием, полным чувства тоски, другими словами патологическим, подразумевающим нашу разлуку с ней. Толстой вспоминает, что впервые он почувствовал боль от этой разлуки, когда его детство под присмотром нянь подошло к концу и он переехал к своим старшим братьям и воспитателю Федору Ивановичу на нижний этаж. Никогда больше, уверяет он нас, он не ощущал так сильно, что такое чувство долга и что, соответственно, такое моральное и этическое обязательство: “чувство Креста, нести который призван каждый из нас. Мне было тяжело расставаться со всем, что я знал с самого рождения. Мне было грустно, я погрузился в поэтическую меланхолию; не столько из-за того, что мне пришлось расстаться с людьми, с моей няней, с моими сестрами, с моей тетей, сколько из-за того, что я покидал свою маленькую кроватку с занавесками и подушками. Более того, я опасался новой жизни, в которую вступал”. Появление слова “Крест” в этой связи знаменательно не только по отношению к Толстому, но и по отношению к самой вещи, к процессу отрыва от природы. Толстой ощущал этот процесс как болезненный и этический: болезненный потому, что этический, а этический потому, что болезненный. Он придает ему моральное и аскетическое значение, как тому, что фактически включает в себя все этические

обязательства человека. Быть очеловеченным означает для него быть денатурализованным; и с этого момента борьба его существования заключается в такого рода процессе очеловечивания: в разрыве с природой, со всем, что было естественным и для него особенно естественным, например, с семьей, нацией, Государством, Церковью, со всеми чувственными страстями и инстинктами, с любовью, охотой, в сущности, со всей физической жизнью, и особенно с искусством, которое для него по существу означало жизнь тела и чувств. Совершенно неправильно думать об этой борьбе как о кризисе обращения, внезапно возникшем в его последние годы; считать, что его начало примерно совпадает с началом старости. Когда пришло известие о том, что великий русский писатель как будто поражен каким-то мистическим безумием, француз Vogué заявил, что давно ожидал этого. Он был вполне оправдан. Зародыш интеллектуального развития Толстого лежал в *детстве, Отрочестве, Юности*; и психология Левина в *"Анне Карениной"* ясно указывала, какой дальнейший курс оно примет. Кроме того, у нас есть свидетельства товарищей Толстого по оружию, когда он был офицером, севастопольского времени. Они дают наиболее ясную картину того насилия, с которым уже тогда в нем бушевала борьба. Но здесь мы должны отметить, что его борьба за разрыв прочных уз, в которых держала его природа, регулярно приводила к заболеванию, немедленно принявшему форму болезни. "Леохен сейчас полностью поглощен своим писательством", - так выразилась его жена, графиня Софья Александровна, примерно в 1880 году, когда он погрузился в богословие и философию религии. Это зрелище ее возлюбленный терпеть не может, и она постоянно пытается вернуть его к творческой работе. "У него странные и пристальные глаза, он вообще почти не разговаривает, он похож на существо из другого мира и положительно не способен думать о земных вещах ..." "Леохен полностью погружен в свою работу. У него все время болит голова. Он очень изменился и стал строгим и практикующим христианином. Но он поседел, его здоровье ослабло, он все время грустнее и молчаливее". — "Завтра мы пробудем здесь месяц, - пишет она в 1881 году из Москвы, " и первые две недели я плакала каждый день без остановки, потому что Леохен был не только в мрачном состоянии, но и впал в какую-то отчаянную апатию. Он ничего не ел и не спал, иногда буквально плакал — я искренне верю, что потеряю рассудок". И самому ее мужу: "Я начинаю думать, что, когда счастливый человек внезапно начинает видеть только ужасную сторону жизни и не видит ничего хорошего, он, должно быть, болен. Ты должен что-то сделать для этого, я говорю это со всей серьезностью. Мне кажется, это так ясно, я так страдаю, видя тебя.... Неужели вы никогда раньше не знали, что в мире есть люди голодные, несчастные и порочные? Откройте глаза: есть также сильные и здоровые, счастливые и хорошие. Если бы Бог только помог вам — что я могу сделать? Вы, должно быть, больны", — причитает бедная женщина - а он разве нет? Он сам пишет: "Мое здоровье становится все хуже и хуже, часто я жалею, что не могу умереть. Почему я так ослаблен, я и сам не знаю. Возможно, это возраст, возможно, болезнь..."

Сравните с этим его описание того времени, когда он искал в святом животном духе супружеской жизни убежища от неразрешимых загадок, которые ставил перед ним его интеллект; а затем, с той силой, которую критики с удовольствием называли "медвежьей" — Тургенев тщетно пытался убедить его, что она исходит из источника, откуда берутся все вещи, — создал свои два эпических романа *"Война и мир"* и *"Анна Каренина"*. "Тогда он всегда был беззаботным, - рассказывает его невестка, - в приподнятом настроении, как говорят англичане, свежим, здоровым и веселым. В те дни, когда он не писал, он ходил на охоту со мной или со своим соседом Рыбиковым. Мы охотились с борзыми.... Вечерами он раскладывал пасьянс в комнате Танчана. "Какие счастливые дни! Кто может винить бедную графиню Софью

Александровну за то, что она едва сдерживает себя от радости, когда слышит, что ее христианин с ввалившимися глазами задумалное творческое произведение? Ее счастье трогательно. “Какая радость внезапно наполнила меня, когда я прочитал, что ты снова собираешься написать что-то творческое! То, чего я так долго ждал и на что надеялся, пришло к тебе. Это спасение, это счастье, в нем мы снова соберемся вместе, это утешит вас и осветит нашу жизнь. Это работа, для которой вы были созданы, и вне этой сферы нет радости для вашей души. Дай тебе Бог сил ухватиться за этот луч света, чтобы божественная искра снова вспыхнула в тебе. Эта мысль наполняет меня экстазом....”

Биографии Гете и Толстого показывают, что оба этих великих писателя годами одинаково подавляли свой дар пластического творчества, для которого, по словам графини Софьи Александровны, они были рождены, и оба служили непосредственно общественной деятельности, то есть руководствовались высоконравственными соображениями. Толстой подавлял в нем художника в пользу его деятельности в качестве *мирового посредника* (мирового судьи) и школьного учителя без оплаты. Гете правил герцогством Саксен-Веймар в течение десяти лет своей юности, посвятив свои полномочия регулированию акцизов, деталям книгоиздательства, набору рекрутов, строительству улиц и водопроводов, рабочих домов, шахт и каменоломен, финансам и другим подобным вопросам, в то время как Мерк, в стиле Тургенева, постоянно заботился о том, чтобы спасти его для литературы, а он сам, со все возрастающей покорностью, закаляя себя внутренними призывами к терпению и стойкости, выполнял тяжелую, неблагодарную, неестественную работу. . В дополнение ко всему этому, в случае с Гете, был тот несколько серафический роман с фрау фон Штайн. Без сомнения, это было самым прекрасным инструментом в процессе воспитания сына Титанов; но, в конце концов, это воздало должное лишь одной из этих знаменитых двух душ, которые, увы, обитали в его груди, и позволило другой, той, у которой были “*klammernde Organen*”, “хватательные органы”, уйти пустой.— Ну, в обоих случаях, у Гете и Толстого, результатом является болезнь. “Моя должность мирового судьи, ” пишет Толстой, - закончилась разрушением моих хороших отношений с помещиками, не говоря уже о том, что это повредило моему здоровью”. Обучение деревенских детей привело к тому же результату. Правда, в своем педагогическом журнале он утверждает, что упражнения, написанные детьми, были более совершенными, чем сочинения Льва Толстого, Пушкина и Гете; но все же он видит что-то злое и даже преступное в своем общении с ними, ему кажется, что он злоупотребляет и растлевает их души. “Казалось, все прошло очень хорошо, - говорит он в “*Признаниях*”, - но я чувствовал, что психически недостаточно здоров и что так долго продолжаться не может. Я был болен скорее душевно, чем физически; я выбросил все это за борт и уехал к степным калмыкам пить кобылье молоко и вести животный образ жизни”. — Это бегство в степи живо напоминает тайное бегство в Италию, которое было спасением Гете, после того как он тоже увидел, что так долго продолжаться не может. Тридцатичетырехлетний мужчина стал молчаливым, неразговорчивым, проще говоря, меланхоличным. Он думал, что, вероятно, это естественно, что мужчина становится серьезным из-за серьезных вещей. Его здоровье было фактически подорвано; к тому времени, когда ему исполнилось тридцать шесть, его лицо было лицом жертвы истощения. Впервые он подумал о том, чтобы лечиться. Он начал осознавать губительную порочность своего существования; выразил свою точку зрения, искусно преуменьшив, что он создан для частной жизни. И сбежал перед лицом разрушения. Параллель сохраняется: Лев Николаевич, вернувшийся из степей и вылеченный кобыльим молоком, женится на своей Софье Александровне, которая с тех пор почти непрерывно ведет семейный образ жизни и с эпической и первозданной силой создает

два своих великих романа. В то время как Гете, вернувшись из Италии, забирает Кристиану Вульпиус к себе и, освободившись от служебных забот, отдается своим естественным занятиям. Все это могло бы послужить приукрашиванием философии болезни.

Искусство - это объективное, творческое созерцание, тесно связанное с природой. Критика, с другой стороны, - это морализующее, анализирующее отношение к жизни и природе. Другими словами, критика - это дух, тогда как созидание - это забота детей Бога и природы.

“В поэзии моей максимой был объективный принцип”, - говорит Гете. “Я художник по пластике”. Действительно, контраст между позицией Гете и позицией его великого коллеги (Шиллер отстаивал идеализм, морализацию, риторику, короче говоря, критику) слишком хорошо известен, чтобы нуждаться в детальном рассмотрении. Гете считал свой собственный врожденный поэтический дар “совершенно естественным”. Его терпимость, его позиция “живи и давай жить другим”, покладистость его характера - все это согласуется с этой точкой зрения. Они основаны на Спинозановской концепции совершенства и необходимости всего сущего, на идее мира, свободного от конечных целей и конечных причин, в котором зло имеет свои права наравне с добром. “Мы боремся,” заявляет он, “за совершенствование произведения искусства как самоцели. Они, моралисты, думают о скрытом эффекте, о котором истинный художник заботится так же мало, как природа, когда она создает льва или колибри”. Его основной максимой является то, что искусство так же враждебно цели, как и сама природа; и именно в этом пункте последователь Спинозы симпатизирует Канту, который рассматривает отстраненное созерцание как подлинное эстетическое состояние, проводя таким образом фундаментальное различие между эстетико-творческим принципом и этико-критическим принципом. “Когда,” говорит Гете, “философия подтверждает и усиливает наше изначальное чувство единства с природой, превращая его в глубокое и спокойное созерцание, тогда я приветствую это”. Я мог бы привести десять или двенадцать других мест в его произведениях, где во имя искусства он отвергает моральную санкцию, которая, на самом деле, всегда носит и социальный характер. “Я полагаю, что произведение искусства может оказывать моральное воздействие; но требовать от художника моральной цели — значит портить его мастерство”. - “В своей профессии писателя я никогда не задавался вопросом: “чем я могу быть полезен миру в целом?” Все, что я когда-либо делал, было сделано с целью сделать себя лучше и более проникательным, увеличить содержание моей собственной личности; и только после этого я высказал то, что я считал хорошим и истинным ”.

Когда мы противопоставляем христианско-социальную этику Толстого как старика языческому и культурному идеализму Гете, мы не должны забывать, что толстовский социализм возник из самой частной потребности, глубочайшей заботы о спасении собственной души. Постоянная неудовлетворенность собой, мучительный поиск смысла жизни были источником этого социализма. Моралист начинал все свои учения и реформы с самодисциплины (то есть с *Признаний*), какой истинный социальный критик никогда не требует от себя. Революционером в реальном и политическом смысле этого слова его ни в коем случае нельзя назвать. “Значение христианского учения, - заявляет он, - не в том, что во имя него общество должно быть насильственно реформировано. Она заключается в том, что человек должен найти смысл жизни”. И следует отметить, что первоначальная концепция искусства Толстого в точности соответствовала концепции Гете — факт, который не удивит никого, кроме тех, кто искренне

принимает его как дитя духа, подобно Шиллеру и Достоевскому, на основании его наивных и неуклюжих усилий по духовному возрождению и не может распознать в нем природное благородство, подобное Гете. Ненависть Толстого к Шекспиру, возникшая гораздо раньше, чем принято считать, несомненно, имеет свои корни в антагонизме против этой универсальной и всепринимавшей природы: в ревности, которую человек, претерпевающий моральные муки, должен был испытывать перед лицом беспечной иронии абсолютно творческого гения. Это была реакция против природы, против простоты, против безразличия к моральной точке зрения; и импульс к духовности, то есть к этической и даже социальной переоценке, реакция настолько искренняя, что закончилась тем, что он сыграл против шекспировской миссис Харриет Бичер—Стоу, создательницы *"Хижины дяди Тома"* — абсурдность, которая только показывает, насколько он был дитя природы. Подлинные сыны духа и идеи, такие как Шиллер и Достоевский, не садятся на мель у таких фантастических берегов. Критические и нравственные способности Толстого, короче говоря, его пристрастие к духу, были всего лишь вторичным импульсом, к тому же слабым. Это всегда мешало органичному соединению с его могучим творческим даром; мы имеем от него недвусмысленные заявления о том, что, по его мнению, чистая творческая сила стоит выше таланта с социальной окраской. В пожилом возрасте он критиковал Достоевского за то, что тот занялся политикой, точно так же, как Гете критиковал деятельность Уланда в этом направлении. В возрасте тридцати одного года, в 1859 году, будучи членом Московского общества друзей русской литературы, он произнес речь, в которой так резко подчеркнул превосходство чисто художественных элементов в литературе над достоинствами, обусловленными скрытыми или эфемерными причинами, что президент общества Хомяков в резком ответе напомнил ему, что служитель чистого искусства вполне может, сам того не зная и не желая, обвинять общество.

Вспышка интеллектуальных опасений, того смирения духа, к которому склонны сыны природы, происходит в конце романа Толстого *"Люцерн"*. Вот великолепный плач о судьбе человека, который, при всей своей нужде в позитивном искуплении, брошен в вечно вздымающийся и безбрежный океан добра и зла. "Если бы человек," восклицает Толстой, - хоть раз научился не судить и не мыслить так резко и решительно и не всегда давать ответы на вопросы, которые ставятся только для того, чтобы они навсегда остались вопросами! Если бы он только понял, что каждая мысль одновременно ложна и истинна!.... Люди разделили на части этот вечно бурлящий, безграничный, вечно перемешанный хаос хорошего и дурного; они провели себе воображаемые пограничные линии в этом море и ожидают, что море разделится в соответствии с их линиями. Как будто невозможно провести миллионы других разделений, с других точек зрения и на разных планах!... Цивилизация - добро, варварство - зло, свобода - добро, несвобода - зло. Это мнимое знание разрушает в человеческой природе *изначальное блаженное и инстинктивное стремление к добру*". И, спрашивая себя, не может ли быть в душах бедных больше счастья и жизнеутверждения, чем в душах черствого богача, против которого, со своей стороны, восстает его сердце, он разражается словами: "Бесконечна доброта и мудрость Того, кто разрешил и повелел всеми этими противоречиями. Только тебе, бедный червяк, столь самонадеянно пытающийся осуществить свои планы и уловки, только тебе они кажутся противоречивыми. Он кротко смотрит вниз со Своей сияющей, неизмеримой высоты и радуется бесконечной гармонии, в которой вы все движетесь в бесконечном конфликте!"

Можно ли выразить себя более "гоэтично"? Даже *"Гармония Unendlichen"* есть здесь. Это не просто философское или моральное сомнение; слова слишком легковесны, слишком тонки,

слишком интеллектуальны, чтобы охарактеризовать благочестие, религиозную покорность, обожание природы, которыми дышат страницы Толстого. Это не голос пророка, школьного учителя и реформатора; здесь говорит дитя этого мира, творческий художник. Природа была его стихией, как она была стихией, любимой, доброй матерью Гете — и его постоянное разрывание уз, которые крепко связывали его с ней, его отчаянное стремление уйти от нее в направлении духа и морали, от творчества к критике, во многом заслуживают нашего уважения и почтения, хотя в то же время в этом есть что-то болезненное, мучительное и унижительное, чего нет в характере Гете. Посмотрите на отношение Толстого к музыке, это очень поучительно. Когда он встретил Бертольда Ауэрбаха в Дрездене, этот не слишком глубокий моралист сказал ему, что музыка — это безответственное наслаждение, и добавил, что безответственное наслаждение — это первый шаг к безнравственности. Толстой в своем дневнике сделал эту умную и отвратительную фразу своей. Его ненависть и страх перед музыкой имели ту же моральную и социальную основу, что и его ненависть и страх перед Шекспиром. Нам рассказывают, что при звуках музыки он побледнел, и на его лице появилось выражение, очень похожее на ужас. Несмотря на это, он никогда не мог жить без музыки. В юности он даже основал музыкальное общество. Перед началом работы он обычно садился за пианино — это много значит. А в Москве, когда он сидел рядом с Чайковским и слушал Квартет композитора ре мажор, он начал рыдать наизусть глазами у всех. Нет, немзыкальным он не был. Музыка любила его, даже несмотря на то, что он, будучи великим морализатором, чувствовал, что не должен отвечать на ее любовь.

Существует легенда о великане Антее, который был непобедим, потому что свежая сила вливалась в него всякий раз, когда он касался своей матери-земли. Жизни Гете и Толстого неотразимо напоминают этот миф. Оба сына матери-земли, они отличаются только тем, что один из них осознавал источник своего благородства, другой — нет. В "раскаивающихся признаниях" Толстого есть места, где он прикасается к земле, и вдруг его слова, которые, пока они касались теории, были деревянными и сбивчивыми, наполняются самой пронзительной чувственностью, непреодолимой силой и свежестью жизни. Он вспоминает, как однажды в детстве они с бабушкой отправились собирать орехи в орешниковую рощу. Маленькую коляску бабушки в рощу втаскивают не лошади, а лакеи. Они продираются сквозь подлесок и сгибают ветки, полные спелых, уже осыпающихся орехов, прямо на колени старушке, и она собирает их в мешочек. Маленький Лев восхищается силой воспитателя Федора Ивановича, который сгибает тяжелые ветви; когда он отпускает их, они снова поднимаются и медленно смешиваются с другими. "Я чувствую, как жарко было на солнце, как приятно прохладно в тени, как мы вдыхали острый аромат листьев орешника, в то время как все девушки вокруг нас раскалывали орехи зубами; мы без остановки жевали полные, свежие, белые косточки". Свежие, полные, белые косточки, хрустящие на зубах у девочек: это Антей — Толстой, и сила его матери-земли струится через него, как это было, когда он писал "*Войну и мир*", где за его довольно расплывчатыми, мелко нарисованными, не очень убедительными философскими отступлениями следуют страницы, о которых Тургенев написал: "Они великолепны, они самые лучшие, что есть, все оригинальное, все описательное, охота, ночная прогулка на лодке и все такое — никто в Европе не может его тронуть".

И Гете: как сознание Антея управляло всем его существованием! Как постоянно оно обуславливало его поиск и формирование! Природа для него — "исцеление и утешение" после посещений страсти; и хотя он хорошо знает, что для познания ее "нужно объединить

всепроявления человеческого существа в одну определенную и отчетливую сущность”, что истинное исследование немислимо без дара воображения, он с опаской относится к фантастическому, избегает спекулятивной натурфилософии, оберегает себя от потери связи с землей и называет идею “результатом опыта”. Воображение, руководящее его исследованиями, интуитивно, это врожденная симпатия дитя природы к органическому. Это антеанство, как и сила воображения, которая обуславливает его творчество, и оно также не капризно по своей природе, но точно и основано на чувственных восприятиях. Таково воображение творящего художника. Сыновья мысли, замысла, духа - они другого рода. Мы не будем говорить, что одно создает больше реальности, чем другое. Но фигуры, созданные пластической фантазией, обладают реализмом чистого бытия; в то время как фигуры, созданные “сентиментальным” художником, демонстрируют свою актуальность действием. Шиллер сам проводит это различие. По его собственному признанию, помимо того, что они делают, в них есть что-то темное - *“etwas Schattenhaftes”* - это его выражение. Перенесите это из сферы немецкого идеализма в сферу русского и откровения, и вы получите, как своего рода национальную подвеску к миру идей, риторики и драмы Шиллера, теневой мир Достоевского, увеличенный в натуральную величину и преувеличенно правдивый. В голову приходит ключевое слово из философии искусства, которое сегодня у всех на устах или, по крайней мере, было вчера: слово “экспрессионизм”. На самом деле то, что мы называем экспрессионизмом, - это всего лишь поздняя форма, сильно пропитанная русским и откровенным романтическим идеализмом. Его конфликт с эпическим отношением к искусству, конфликт между созерцанием и экстатическим видением не является ни новым, ни старым, он вечен. И это находит полное выражение, с одной стороны, у Гете и Толстого, с другой - у Шиллера и Достоевского. И всю вечность истина, сила, спокойствие и смирение природы будут находиться в конфликте с непропорциональной, лихорадочной и догматической самонадеянностью духа.

Да, в значительной степени, точно так же, как “глубокое и спокойное созерцание” Гете, его точная и чувственная фантазия, реалистичность его персонажей соотносятся с идеальными представлениями Шиллера и активностью его творений, так и могущественная чувственная привлекательность творчества Толстого соотносится с болезненным, искаженным миром грез и души Достоевского. Действительно, контраст становится еще более резким из-за различий между нациями и периодами. Толстой, романист-реалист, отпрыск князя и крестьянина еще молодой расы, проявляет в своем искусстве чувственность более мощную, более непосредственную по своей привлекательности, чем немецкий гуманист и классицист, родившийся в буржуазии и воспитанный в патрицианстве, в своем.

По сравнению с Эдуардом и Шарлоттой, влюбленными из *“Вальвервандшафтен”*, Вронский и Анна подобны прекрасному сильному жеребцу и благородной кобыле. Это сравнение не мое; его часто приводили. Определенная школа русской критики, враждебная, конечно, и невысокого уровня, сочла наиболее оскорбительным анимализм Толстого, его неслыханный интерес к жизни тела, его гениальность в том, что он донес до нас физическую сущность человека. Эти критики писали, например, что от *“Анны Карениной”* исходил классический запах детских подгузников. Они были в восторге от непристойности некоторых сцен и иронически упрекали Толстого в том, что он не описал, как Анна принимает ванну, а Вронский моется сам. Они были неправы даже в самом факте; ибо Толстой действительно рассказывает нам, как Вронский моется, мы видим, как он трет свое красное тело. А в *“Войне и мире”* нам

посчастливилось мельком увидеть обнаженного Наполеона в сцене, когда его жирную спину поливают одеколоном. Критик написал в журнале *“Die Tat”* об этой книге: “Ее главная тема - удовлетворение любого человека в рамках супружеского блаженства, понимаемого в самом грубом смысле”. И тогда тот же критик, пародируя стиль Толстого, предложил ему написать еще один роман о любви Левина к его корове Пане.

Все это, конечно, находится на более низком уровне, чем критика Гете, которую Каролина Гердер написала Кнебелю: “О, если бы он только придал немного души своим персонажам! Если бы только во всем, что он пишет, не было столько распутства, или, как он сам любит это называть, столько “хорошего чувства”. ”Но непросвещенный комментарий, подобный этому, вполне может быть, тем не менее, проливающим свет, даже если он сделан неосознанно и как бы под ложным предлогом; и эти замечания, в их глупости, несомненно, содержат крупицу истины. “Распутство” Кэралайн - это мягкое, сентиментальное словодля характеристики того, что писал Гете; тем не менее, оно имеет определенную уместность, если проводить сравнение между его откровенным реализмом и возвышенной несущественностью мира Шиллера. К тому же это не такая уж плохая шутка - заставить Левина влюбиться в свою корову. Это подчеркивает телесность творчества Толстого в контрасте со святой одухотворенностью творчества Достоевского — особенно если вспомнить личную страсть Толстого к одному из занятий фермерской жизни, а именно к разведению крупного рогатого скота и свиней. Конечно, это интерес, вполне присущий землевладельцу; но там, где он выражен так сильно, конечно, не лишен более глубокого смысла.

Я по-прежнему полон решимости не выносить суждений. Я действительно отбросил вопрос благородства, вопрос ранга. Но я остерегаюсь поспешных решений, и даже рискуя прослыть колеблющимся, я придерживаюсь своей политики свободы действий и своей веры в ее конечную плодотворность. Почему бы мне не быть осторожным судьей в этой беспокойной битве, когда я знаю, что то, что я назвал превыше высокомерия духа, едино с тем великим и в высшей степени влияющим принципом, который мы называем свободой?

Самое возвышенное хвастовство Шиллера - свобода певца. Но отношение Гете к концепции свободы всегда было осторожным, не только в политической области, но и последовательно, фундаментально и во всех отношениях. О Шиллере он говорит: “В последние годы жизни, когда у него было достаточно свободы в физическом смысле, он перешел к ней в царстве идеала, и я мог бы почти сказать, что это убило его; ибо это заставляло его предъявлять к своим физическим силам требования, которые были совершенно непосильны для них. Я с большим уважением отношусь к категорическому императиву, я знаю, сколько хорошего из него может получиться; но не следует заходить слишком далеко, ибо тогда эта идея идеальной свободы наверняка ни к чему хорошему не приведет”. — Признаюсь, что эта привычка использовать героическую жизнь Шиллера для предостережения от преувеличений в использовании категорического императива всегда вызывала у меня улыбку. Противопоставление нравственного естественному всегда вызывает чувство юмора. Но в других местах, где это дитя Божье высказывается о героях и святых, его слова звучат совсем по-другому и откровенно свидетельствуют о благородстве духа. Однажды он заявил, что слывет аристократом, но что Шиллер, в сущности, гораздо больший аристократ, чем он. Замечание имеет прямое отношение к проблеме аристократии: конечно, не в политической сфере и даже не к тому факту, что

Шиллер говорил о “вечно слепых”, которым нельзя давать небесных факелов света; нет, оно имеет непосредственное отношение к аристократии духа, которую Гете в тот момент сравнивал со своей собственной, аристократией природы, и находил ее более возвышенной из двух. “Ничто не тревожило его, ” восхищенно говорит он, “ ничто не сковывало его, ничто не нарушало полета его мыслей. За чайным столом он был так же великолепен, как и в зале совета”. Это восхищающее чудо поднимается из глубин антей-натуры Гете, которая вообще не сознавала подобной свободы, такой независимости и необузданности. Скорее, он знал, что постоянно находится в зависимости от сотни обстоятельств; находится под влиянием, обязан, действительно, добровольно , с определенной гордостью за свою земную аристократию, но, тем не менее, находится под влиянием и обязанностью. Пантеистическая необходимость была фундаментальным чувством его существования. Недостаточно сказать, что он не верил в свободу воли. Он отрицал концепцию, он отрицал, что такая вещь вообще возможна. “Мы подчиняемся законам природы, ” говорит он, “ даже когда мы восстаем против них; мы работаем с ней, даже когда мы работаем против нее”. Этот демонический детерминизм всего его существа часто ощущался другими. Они говорили, что он был одержим и не мог действовать добровольно. Его привязанность к земле проявлялась, например, в такой чувствительности к погоде, что он называл себя обычным барометром. И мы не можем считать, что он чувствовал свою зависимость, которая сводилась к принуждению, как личное унижение, или что его воля когда-либо восставала против этого. Воля - это дух: природа такова, что она мягкая и покладистая. Таким образом, аристократ в рабстве может испытывать благородную гордость, преклоняя колена перед темной силой, которой он принадлежит и которая так хорошо направляет его; и все же быть способным, как показывает, по крайней мере, случай Гете, на изящный жест почтения перед аристократией свободы. “*Denn hinter ihm*”, - говорит Гете в Послесловии к “*Колоколу*”, ссылаясь на Шиллера:

Denn hinter ihm in wesenlosem Scheine

Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine.

Поистине, это дань уважения, которая дышит духом глубочайшего смирения. For what is “*das Gemeine*”? Не что иное, как естественное, с точки зрения духа и свободы. Ибо свобода - это дух; это освобождение от природы, бунт против нее; это человечность, понимаемая как освобождение от природы и ее рабства, причем это освобождение является тем, что действительно является человеческим и достойно человечества. Здесь мы видим, как вопрос аристократизма переплетается с вопросом человеческого достоинства. Что прекраснее, что достойнее человечности, свобода или узы, своеволие или подчинение, нравственное или естественное? Если я отказываюсь отвечать, то лишь из убеждения, что на этот вопрос никогда нельзя дать окончательного ответа.

Но, с другой стороны, моральный “сентименталист” вообще не может быть “сентименталистом”, если он, со своей стороны, не проявляет еще более живого и глубокого стремления отдать дань уважения аристократии, которая присуща ему от природы. Несомненно, в отношении духа к природе есть некое очаровательное смирение, деликатная готовность, часто совершенно безответная, выразить ей уважение, что является одним из величайших и наиболее трогательных явлений высшей жизни. Достоевский прочитал раннее произведение Толстого “*Детство, отрочество, юность*” в Сибири в периодическом издании

под названием "*Современник*" и был настолько им увлечен, что со всех сторон расспрашивал об анонимном авторе. "Спокойный, глубокий, ясный, но непостижимый, как непостижима природа, - вот какое впечатление он оставляет", - пишет он. "Вот оно, и все, даже мельчайшая деталь, показывает прекрасное единство темперамента, из которого оно вытекает". — Нет, это не слова Достоевского, хотя они могли бы быть такими. Именно Шиллер пишет так о *Вильгельме Мейстере* в том письме, в котором он впервые обращается к Гете как к "Самому дорогому другу": эмоциональная форма обращения, с которой, насколько мне известно, Гете никогда явно не соглашался. Достоевский написал самую глубокую и любящую из всех существующих критических статей на "*Анну Каренину*"; шедевр восторженного изложения, который Толстой, возможно, даже никогда не читал (он никогда не читал критических замечаний на свои произведения), не говоря уже о том, что он когда-либо чувствовал побуждение писать рецензии на что-либо из произведений Достоевского. Говорят, что, когда Федор Михайлович умер, Толстой сказал: "Я очень любил этого человека". Но осознание этого факта пришло к нему несколько поздно; ибо, пока Достоевский был жив, Толстой никогда не беспокоился о нем; хотя впоследствии, в письме к Страхофу, биографу Достоевского, он сравнил его с лошадью, которая казалась великолепным созданием и стоила тысячу рублей, пока внезапно не захромала, и тогда прекрасное сильное животное не стоило гроша. "Чем дольше я живу, " сказал он, - тем больше я думаю о людях, которые не хромают". Но эта лошадиная философия в применении к автору "*Братьев Карамазовых*", мягко говоря, не кажется вполне счастливой.

Мы знаем, и нам приятно это сознавать, что в случае с Гете и Шиллером отношение природы к духу было в целом более братским, достойным и находилось на более высоком уровне. Но если Гете и здесь сыграл роль Хатема, щедро отдающего и принимающего, то, в конце концов, он не брал у дорогого друга больше, чем тот ему давал, не говоря уже обо всем, что он давал в силу самого своего существования, бессознательно, произвольно. Разве, в конце концов, роль Шиллера в этих отношениях не заключалась в служении? Я сам так думаю, просто потому, что это заложено в природе вещи, потому что Шиллерни в малейшей степени не нуждался, чтобы сохранить свою плодотворность, в похвале, любви, вдохновении, которыми он одаривал Гете. И я отмечаю, что такого письма, как его знаменитое первое, которое укрепило связь между ними, в котором он доброжелательной рукой "изложил суть" жизни Гете, он так и не получил от Гете взамен.

Одно высказывание Шиллера, обращенное к Гете, всегда приводило меня в восторг, оно, кажется, так чудесно характеризует наши отношения. Я имею в виду отрывок из письма, где он предостерегает Гете от Канта, своего собственного духовного учителя и кумира. Гете, говорит он ему, может быть только Спинозанином; его прекрасная простая натура была бы сразу же испорчена соприкосновением с философией свободы. Это не больше и не меньше, чем проблема иронии, которая бросается нам здесь в глаза: без исключения самая глубокая и увлекательная в мире. Ибо мы видим здесь, что нет ничего более чуждого духу, чем желание обратить природу к себе. Это предостерегает природу от самой себя. Высокоморальному "сентименталисту" все, что является природой, кажется прекрасным и в высшей степени достойным сохранения. Знание чувствует, что жизнь прекрасна; и это чувство нравственного к простому, святого к божественному, природы к духу; и в этом особенно абсолютном суждении о ценностях пребывает ироничный бог, пребывает Эрос. Соответственно, Дух вступает в отношения с природой, которые в некотором смысле эротичны, в некотором смысле определяются мужской и женской половой полярностью. И в силу этого отношения оно может рискнуть унизиться и отважиться на окончательное самоотречение, не отказываясь при этом ни

от чего из своего собственного благородства. Действительно, оно всегда будет сохранять оттенок определенного мягкого презрения. В строках Гельдерлина увековечена именно эта эмоциональная ирония:

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste,

Hohe Tugend versteht, wer in die Welt geblickt,

Und es neigen die Weisen

Oft am Ende zu Schöнем sich.

С другой стороны, у этой простой натуры тоже есть ироническое настроение, которое едино с объективностью ее характера и точно совпадает с концепцией поэзии, поскольку она возвышается над своим предметом, над радостью и горем, хорошим и плохим, смертью и жизнью, чтобы свободно играть с ними. Гете говорит об этом настроении в "*Дихтунгах и страсти*", ссылаясь на Гердера.

Очевидно, что то, что так долго отделяло Гете от Шиллера, было больше, чем что-либо другое, из-за предубеждений последнего в отношении свободы: его концепция человеческого достоинства, которая была полностью основана на диктатуре духа — то есть носила полностью революционный характер, — которая понимала в этом освобожденном смысле всю человечность, все благородство, все человеческое благородство - и которая натуре, подобной натуре Гете, должна была казаться и отвратительной, и оскорбительной для природы. Например, *априори* несомненно, что Гете больше всего обиделся на знаменитое эссе "*Об аниме и Вюрде*". В нем происходят такие вещи, как следующее: "Движения, в основе которых лежит только животная чувственность, принадлежат только физической природе, какой бы произвольной мы ни считали их, которая сама по себе никогда не достигает изящества. Если бы было возможно обрести благодать в проявлениях физических влечений и инстинктов, благодать больше не была бы ни способной, ни достойной служить выражением человечности". Это можно было бы охарактеризовать как идеалистическую злобу духа против природы, и так, должно быть, расценивал это Гете. Ибо дерзко утверждать, что благодать не может исходить из чувственного, а природа не может достичь благодати. Таким образом, благодать не является проявлением, достойным человечества; ибо то, что желание может выражаться с очарованием, а инстинкт - с изяществом, является "очаровательным" фактом опыта. И когда Шиллер продолжает говорить: "Изящество - это красота, не данная природой, но произведенная самим предметом ... это красота формы под влиянием свободной воли; это красота тех конкретных явлений, которые человек определяет сам. Архитектурная красота делает честь творцу природы; изящество делает честь тому, кто ею обладает. Это дар, это личная заслуга" — моральное различие, которое он проводит между талантом и личными заслугами, становится совершенным оскорблением жизненного сознания Гете и его аристократического чувства. "Глупцы никогда не задумываются, - говорит Гете, - о том, как связаны удача и заслуги". Под "удачей" он подразумевает то, что Шиллер называет "природой" и "талантом" и проводит различие между свободными человеческими заслугами. В то время как Гете, наполовину злонамеренно, наполовину парадоксально стремясь лишить слово "заслуга" присущего ему моралистического привкуса, любит говорить о "врожденных заслугах". Каждый волен называть это логическим противоречием. Но бывают случаи, когда логика сталкивается с метафизической достоверностью, более высокой, чем она сама; и Гете, который в целом

определенно не был метафизиком, несомненно, считал проблему свободы метафизической. Иными словами, недоказуемая интуиция подсказывала ему, что свобода, а вместе с ней и достоинства и недостатки, относятся не к эмпирическому, а к умопостигаемому миру; что, говоря словами Шопенгауэра, свобода заключается не в *operari*, а в *esse*. В этом кроется скромность его аристократизма, аристократизм его смирения; оба они столь категорически противоположны идеалистическим оценкам Шиллера, его личной и моральной гордости за свою свободу. Гете, когда он хочет охарактеризовать принцип, составляющий его сущность, смиренно и с благодарностью говорит о “даре судьбы”. Но концепция “дара”, “благодати” более аристократична, чем можно было бы подумать. Это означает неразрывный союз удачи и заслуг, синтез свободы и необходимости, короче говоря, “врожденные заслуги”; а благодарность, смирение несут с собой метафизическое сознание того, что ты всегда можешь быть абсолютно уверен в благосклонности судьбы.

В случае с Гете есть поразительное свидетельство на этот счет, которое я не могу удержаться от цитаты. Говоря о Бентэме, он говорит, что для человека в его возрасте быть таким радикальным - верх безумия. Ему отвечают, что, если бы Его Превосходительство родился в Англии, он вряд ли смог бы избежать того, чтобы не стать радикалом и реформатором. На что Гете с мефистофелевским видом: “За кого вы меня принимаете? Вы думаете, я бы выслеживал злоупотребления и приписывал им имена? Я, который, если бы родился в Англии, жил бы за счет злоупотреблений? Если бы я родился в Англии, я был бы герцогом или, еще лучше, епископом с доходом в тридцать тысяч фунтов стерлингов”. — “Очень хорошо. Но предположим, что ваше превосходительство не выиграли бы большой приз в лотерею; предположим, вы вытянули бы пустой билет?” На что Гете ответил: “Не каждый, мой дорогой друг, *создан для большого приза*. Неужели ты думаешь, что я должен был выкинуть такой глупый трюк (*sottise*), чтобы выиграть вничью?”

Все это, конечно, в шутку. Но только ли в шутку? Не является ли это скорее выражением той глубокой метафизической уверенности, что никогда и ни при каких обстоятельствах он не должен и не может быть иным, кроме как облагодетельствованным, привилегированным, никогда, кроме как знатного происхождения? И в этой уверенности нет ли, в конце концов, чего-то вроде сознания свободы воли, хотя бы свободы после события? Действительно, это бесценно. Родиться на свет голодающим революционером, идеалистическим “сентименталистом”, которого он называет *социализмом*. Не в этом ли ирония, которую дети Божьи сеют по отношению к детям духа? Если существует такая вещь, как врожденные достоинства, то есть и врожденный недостаток; и если это *обычай* появляться на свет обычным человеком, или бедным, или больным, или глупым, то преступник действительно виновен не только эмпирически, но и метафизически. Ибо заслуга и награда, вина и наказание - это понятия, которые связаны друг с другом. И, по крайней мере, одно наказание заслуживают все те, кто совершил *обычай* вытягивать пустой билет в лотерею жизни: вечное уничтожение; тогда как избранные в конце тоже получают вечную жизнь. “*Wer keinen Namen sich erwarb, noch Edles will, gehört den Elementen an; so fahret hin!*” Но поскольку возможность благородного стремления и достижения имени не зависит от эмпирической свободы воли, это “*так фарет хин*” является проявлением вопиющего бессердечия. И если концепция избрания по благодати, которой соответствует концепция метафизической порочности, является христианской концепцией, то, во всяком случае, она показывает христианство, обращающее свою аристократическую сторону вовне.

Некоторое время назад я сказал, что мне не случайно кажется, что Шиллер и Достоевский были больными людьми и не дожили, подобно Гете и Толстому, до почтенной старости. Скорее, я был склонен рассматривать их слабое здоровье как основополагающую черту их характера. Не менее символичен и другой внешний факт, что два великих реалиста и креативщика принадлежали к высшему сословию, родились в привилегированном социальном статусе, тогда как герои и святые идеи, Шиллер и Достоевский, один из которых был сыном швабского военного хирурга, а другой - врача московской больницы, были детьми скромных людей и проводили все свои дни в стесненных и домашних, можно даже сказать, недостойных условиях. Я называю этот биографический факт символическим, потому что он свидетельствует о христианстве духа, царство которого, как сказано в Священном Писании, не от мира сего - в личностях так же мало, как в сфере идеального и художественного. В чем он противопоставляет себя постоянному контрасту с царством природы и любимцами природы, чей ранг и сущность полностью принадлежат "этому миру", физическому, языческому миру. В этом заключается их "реализм". И они, и Толстой, и Гете, были в достаточной степени реалистами, чтобы испытывать наивное наслаждение от своего привилегированного статуса, да, в некотором роде подчеркивать его и показывать, что проникнуты сознанием этого; что произвело бы впечатление удивительно непросвещенного, если бы не было ясно, что они сами рассматривают это в символическом смысле и даже довольно по-детски уподобляют это в своем сознании своей высшей, внесоциальной, человеческой аристократии. Патрицианское происхождение Гете было ему так дорого, что его дворянский патент, когда он держал его в руках, "ничего не значил, просто ничего". "Мы, франкфуртские патриции," сказал он, - всегда чувствовали себя аристократами". Но в том же разговоре и в связи с ним, чтобы опровергнуть обвинение в том, что он подобострастный слуга королевской власти, он говорит об этом так: "Да, я чувствовал себя настолько непринужденно(*so wohl in meiner Haut*) и настолько аристократичным, что, если бы меня сделали принцем, я бы не удивился". Я могу мимоходом сказать, что ему подобало бы быть принцем. Если бы он принял приглашение Наполеона перенести свою деятельность в Париж, если бы он написал там то, что *цезарь* Наполеон хотел, чтобы он написал, в котором ему нужно было только дать выход ненависти, которую он испытывал в юности к "низкому, презренному убийству", император, несомненно, произвел бы его в принцы, как, по его собственному признанию, он сделал бы и для Корнея. Моя цель состоит в том, чтобы показать, насколько, по мнению Гете, осознание своего социального положения было очень близко к осознанию своего благородства как человеческого существа, как дитя Божьего. Эти два понятия сливаются в одном и том же сознании благородства, или "врожденных заслуг".

Граф Лев Толстой происходил, как мы знаем, из одной из старейших и прекраснейших русских семей. Когда мы читаем его книги "*Детство, отрочество, юность*" или "*Анна Каренина*", эту картину московской светской жизни, нас поражает тот факт, что автор - человек, воспитанный со всеми достоинствами. У нас возникает то же чувство, когда мы читаем "*Дихтунг и вахреут*" или "*Die Wahlverwandschaften*". И у Толстого мы также находим тот же знакомый и, возможно, детский феномен, который мы заметили у Гете: его благородная кровь и отличия, дарованные его великими дарами, принадлежали ему просто потому, что они принадлежали ему, и его сознание этого смешивалось с его радостью от самого себя, которой, несмотря на все его приступы нищеты духа, он обладал в очень большой степени. Его слава писателя, как он писал своему тестю, очень радует его; ему очень приятно быть писателем и дворянином. Писатель и

аристократ — всем своим христианством, всем своим анархизмом, вопреки всему, он никогда не переставал быть поразительным сочетанием этих двух качеств. Когда Тургенев впервые познакомился с молодым Толстым, он сказал: “Ни одно его слово, ни один жест не естественны. Он постоянно позирует; для меня загадка, как такой разумный человек может так по-детски гордиться своим глупым титулом”. Это тот самый Тургенев, который написал французскому издателю: “Я недостойн развязывать шнурки на его ботинках”; так что маловероятно, что приведенное в первой цитате замечание искажает факты. Что касается престарелого Толстого, Горький рассказывает: “Его комфортные, демократические манеры привлекали многих людей; и я часто видел, как русские, которые судят о людях по их одежде, восхищались им со своей знаменитой “простотой манер”, которую лучше было бы назвать ‘звериной фамильярностью’. И вдруг из-под его крестьянской бороды и мятой демократической блузы выглядывал старый русский *барин*, аристократ из аристократов; и в исходящем от него холоде удивительного гостя обмораживался нос. Было радостно видеть это создание голубых кровей: благородное очарование его жестов, надменную сдержанность его речи, убийственную и брезгливую остроту его языка. Он проявил ровно столько *Барина* сколько этим раболепным душам нужно было видеть; когда они пробудили *Барина* в Толстом, это вышло легко и естественно и ошеломило их так, что они съежились и заскулили ”.—Синие носы” вызывают воспоминания о Веймаре, леденящие душу воспоминания о приемах и официальных визитах — только то, что Гете никогда не был настолько злобен, чтобы принять демократическую позу; и его самые холодные манеры скрывали больше любви, чем когда—либо испытывал Толстой - Толстой, чей последний и самый страшный секрет раскрыл проницательный ум Тургенева: он заключался в том, что Толстой не мог любить никого, кроме самого себя! Но для меня было “радостью”, в горьковском смысле этого слова, увидеть Толстого, например, на ежегодной ярмарке Петрова, куда он приехал из своего поместья в Самаре в семидесятых годах. Его обаяние сделало его очень популярным в веселом кружении крестьян, казаков, башкир и киргизов. Говорят, что даже с подвыпившими людьми он не стеснялся завязывать разговор. А затем произошел следующий тихий и характерный маленький эпизод. Пьяный крестьянин в избытке чувств захотел обнять Толстого. Но один строгий и выразительный взгляд Льва Николаевича встретился с этим человеком и мгновенно отрезвил его. Он опустил руки и сказал: “Нет? Ну, тогда ладно ”. Что было такого в этом взгляде, что произвело такой приковывающий, утешающий, отрезвляющий эффект? Было ли это сознанием *барина*? Или великого писателя? В таком случае совершенно невозможно провести различие между ними — настолько же мало объективно, насколько, несомненно, это было субъективно.

“Когда Лев Николаевич хотел понравиться, - рассказывает нам Горький, - у него это получалось лучше, чем у хорошенькой и умной женщины. Представьте себе толпу самых разных людей, сидящих в его комнате: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Джалты, музыкант, немец, поэт Булгаков и так далее; все они смотрят на него одинаковыми влюбленными глазами, пока он излагает им учение Лао-цзы.... Раньше я смотрела на него так же, как и все остальные. И теперь я жажду взглянуть на него еще раз — и я никогда больше его не увижу”. — Очевидно одно: это было не учение Лао-цзы, которое заставило их всех взглянуть на себя с любовью. Это учение вызвало бы очень скудный общий интерес, если бы не сам толкователь. Но этот взгляд во всех глазах - тот самый, который имел в виду Карл Август, когда передавал Гете приветствие, отправленное Наполеоном императору на обратном пути из России: “Видишь, - добавил он, - и небеса, и ад строят тебе глазки”.

Да, демократичные блузки moujik были безупречны, сшиты из мягкого тонкого материала, очень удобны и приятны в носке, а белье надушено. Конечно, сам он этого не почувствовал. Графиня позаботилась об этом, и он, которому это очень понравилось, притворился, что не замечает, точно так же, как он притворился, что не знает, что все вегетарианские блюда, которые он ел исключительно, были приготовлены избульона. “У него лицо крестьянина, - сообщает очевидец, - с широким носом, обветренной кожей и густыми нависшими бровями с маленькими пронзительными серыми глазами под ними. Но, несмотря на крестьянские черты лица, никто не мог не узнать с первого взгляда прекрасного, космополитичного русского джентльмена, представителя самого высшего общества”. Беседуя таким образом по-английски или по-французски с великим герцогом, он очень напоминает Гете, которого ждали принцы и который не считал умалением своего благородства, человеческого или божественного, приправлять его небольшим умением вежливо выражаться. Когда Толстой навестил Александра Герца в Лондоне, его дочь, юная Наталья Александровна, попросила разрешения присутствовать в темном углу, чтобы она могла во плоти увидеть автора *"Детства, отрочества, юности"*. С бьющимся сердцем она ожидала появления Толстого. Она была горько разочарована, увидев мужчину, одетого по последней моде, с хорошими манерами и речью, предметом которой были исключительно петушинные бои и боксерские поединки, которые он видел в Лондоне. “Ни одного слова, которое шло бы от его сердца, ни одного слова, которое могло бы соответствовать моим ожиданиям, я не услышал во время единственного интервью, на котором я присутствовал”.

О Достоевском или Шиллере ничего подобного не сообщается. Они никогда не обманывали ожиданий своей аудитории своей суетностью. Сыны духа лично производят духовное впечатление, как и ожидает полный надежд средний человек от тех, кто сотрясает души. Этот возвышенный, бледный, страдающий святой и преступный облик Достоевского соответствовал представлению русских о феномене его гения, точно так же, как мягкая, бесстрашная, фанатичная и в равной степени болезненная физиономия Шиллера с расстегнутым воротом рубашки и ниспадающим шелковым шейным платком соответствовала образу, который немецкий ум мог бы сформировать о своем герое. Тогда как, с другой стороны, Гете, если мы примем описание его Римером, когда он двигался среди своих гостей в синем сюртуке, “сильное, выразительное лицо, отражающее воздействие солнца и свежего воздуха, с развевающимися вокруг него черными прядями, черные волосы, собранные в косичку, был больше похож на зажиточного, зажиточного фермера или часто посещаемого штабного офицера в штатском, чем на застенчивого и чувствительного поэта”. И это правда, *априори*, что ни один из этих двоих никогда не вызывал искреннего восхищения, демонстрируя банальный энтузиазм по поводу петушинных боев и бокса. Принимая во внимание, что чувство спорта, вкус к физическим упражнениям, физической подготовке и физическому наслаждению играли важную роль в жизни Толстого, как и в жизни Гете. Мы называем эти вкусы джентльменскими и, таким образом, указываем на физическую основу благородства, присущего этому миру. “Его нужно видеть, - писал Ример о Гете, “ каким сильным и непоколебимым он стоит на ногах, с какой телесной ловкостью и уверенным шагом передвигается. Ранние занятия гимнастикой, танцами, катанием на коньках, верховой ездой, даже бегом трусцой и скачками дали ему эту подвижность и податливость; он никогда не мог сделать неверный шаг на худшем пути или подвергнуться опасности поскользнуться или упасть; легко и быстро он преодолевал гладкий лед, узкие тропинки и мостики, а также каменистые обрывы. В юности он лазал по пропастям и гальке со своим знатным другом, взбирался на высокие скалы и альпийские утесы с отвагой

серны; и поэтому за все пятьдесят лет его геологических исследований ни одна гора не была для него слишком высокой, ни одна шахта - слишком глубокой, ни один проход - слишком низким, ни одна пещера - достаточно запутанной”.

Большой интерес, который Лев Толстой проявлял к своему телу, проявлялся как отрицательно, так и положительно. Отрицательно, в его христианском и аскетическом ворчании на свою звериную физическую форму, в таких высказываниях, как то, что тело является помехой для хорошего человека, и в таких фразах, как: “Мне стыдно говорить о моем отвратительном теле”. Положительно, при всем том обучении и заботе, которые он ей уделял. Его интерес к этому зародился в тот момент, о котором он рассказывает в *Исповеди*, когда маленьким ребенком он сидел в деревянной ванне, окутанный запахом воды с отрубями, в которой его купали, и впервые заметил свое маленькое тело с виднеющимися ребрышками на груди спереди, и сразу почувствовал, что его тянет к ней очень сильным влечением. Лицо Толстого было, с человеческой точки зрения, уродливым, и он сильно страдал из-за этого, убежденный, что для существа с таким широким носом, такими толстыми губами и такими маленькими серыми глазами может быть мало радости. Он признается, что отдал бы все, что у него было, за красивое лицо. Юноша, которого мучает проблема смерти, и который обдумывает все высокие и окончательные вопросы с такой же зрелостью, как престарелый пророк, этот юноша в то же время постоянно занят своей внешностью, очевидно, одержим желанием быть элегантным *икомильфо*; придает большое значение физическому развитию, гимнастическим упражнениям; тренируется, ездит верхом и охотится так, как будто у него в голове нет более высоких амбиций и он ни о чем не помышляет. Его страсть к охоте настолько велика, что он признается своей жене, что из всех людей он никогда не забывал Софью Александровну, но на охоте он забыл обо всем, кроме своего двуствольного ружья. Из более чемодного письма тех, кто знал его в расцвете сил, мы видим, каким отважным спортсменом он был, как он с удивительной ловкостью перепрыгивал овраги и пропасти и мог проводить целые дни в дикой природе. Нам говорят, что лучшего компаньона и придумать было нельзя. Пацифизм, христианский, буддийский или китайский, его последних дней, конечно, запрещал ему убивать животных, хотя его несокрушимая физическая сила и тренированная ловкость все еще позволяли бы ему охотиться, и хотя он по-прежнему лелеял величайшее желание этого. Он попрощался с этим. Он подвергся испытанию и обнаружил, что у него достаточно силы духа, чтобы пустить зайцев наутек. И в его случае это значило очень много, как мы видим из следующего анекдота, рассказанного Горьким. Толстой надел тяжелое пальто и толстые ботинки и повел Горького на прогулку в березовый лес. Он прыгал, как школьник, по лужам и канавам, стряхивал капли дождя с ветвей, любовно гладил влажные атласные стволы берез и рассказывал о Шопенгауэре.... “Вдруг нам под ноги выскочил заяц. Лев Николаевич взволнованно вздрогнул, лицо его просветлело, он издал клич, как старый охотник. Затем он посмотрел на меня с любопытной улыбкой и засмеялся сердечным человеческим смехом. В этот момент он был неотразим”. — Еще прекраснее история о ястребе, которого старик увидел кружащим над своими цыплятами, готовящимся спикировать. Лев Николаевич смотрит на хищную птицу, прикрывая глаза рукой, и говорит “взволнованным шепотом”: “Негодяй! Сейчас, сейчас! Он приближается... о, он боится.... Я позову мальчика-конюха”. Он зовет, ястреб исчезает. Но Толстого охватывает сожаление. Он вздыхает и говорит: “Мне не следовало звонить. Тогда бы он налетел”. Это его цыплята. Но все симпатии почтенного пророка пацифизма на стороне ястреба.

О своем сыне Илиуше он написал в письме: “Илиуша ленив, он растет, и его душа еще не переполнена органическими процессами”. Что он имеет в виду под этим? Рост сам по себе является органическим процессом, и если рост невинен, то такими же будут и органические процессы, которые вызывает рост и с которыми Толстой был слишком хорошо знаком, поскольку они всю жизнь были для него обузой. Представление Церкви о женщине как *instrumentum diaboli* было для него чем-то большим, чем настроение времен *Крейцеровой сонаты*; оно восходит к гораздо более раннему времени, к дневникам его отрочества; и он говорит об органических процессах в смысле того раннехристианского папы, который, чтобы умертвить плоть, составил подробный список всех ее отвратительных и дурно пахнущих функций, функций этого тела, которое в конце концов должно подвергнуться последнему унижению гниения. Толстой был бы как раз тем, за что стоило бы взяться, и он взялся. Очень чувственным мужчинам хорошо знакомы подобные настроения. Мопассан где-то называет акт соития грязным и нелепым - “*порядок и насмешка*”. Может ли объективность пойти дальше? Но такая беспечная и циничная объективность была не в характере Толстого. Его ненависть к органическому имеет сокрушительный акцент субъективной муки и ярости. И все же он настолько любим творческим импульсом органической жизни, что нужно вернуться к Гете, чтобы найти человека, который был “*таким же волком на сейнер-Хаут*”, как он. Да, параллель еще более точна. В них обоих, и совершенно одинаково, самое блаженное органическое благополучие, доходящее до органического восторга, смешивалось с укоренившейся меланхолией и глубочайшей близостью к смерти. Гете, когда он был буйным, щеголеватым студентом в Лейпциге, мог в любой момент оставить мужское общество, игру в карты и танцы и предаться одиночеству. У нас есть множество свидетелей его блеска, его ребяческих, фантастических выходов в кругу его друзей, с Якоби, Хайнсе, Стиллингом в Эльберфельде. Он нарезает каперсы, танцует вокруг стола, как клоун, короче говоря, не может сдержаться от таинственного опьянения; сидящие вокруг обыватели думают, что он сошел с ума. И это тот самый Гете, чей Вертер довел не одного молодого человека до саморазрушения, и который практиковался в самоубийстве, держа острый кинжал на прикроватном столике и пытаясь каждый вечер вонзить его поглубже в свое тело.

Мы отметили тот же избыток жизнерадостности у Толстого; в нем она действительно сохранялась до старости, лишенной достоинства, величия и формальной серьезности последнего периода творчества Гете. Которые никого не должны удивлять. Ибо мы не можем сомневаться в том, что Гете вел более серьезную, кропотливую, образцовую жизнь, чем славянский юнкер; или что его культурная деятельность предполагала гораздо более подлинное самоотречение, сдержанность и дисциплину, чем крайние безрезультатные попытки Толстого одухотвориться, прочно увязнув, как это всегда бывало, в трясине фантастического абсурда. Аристократическое обаяние Толстого было, и Горький так описывает это, обаянием благородного животного. Ему так и не удалось достичь достоинства человека цивилизованного, человека, побеждающего трудности. Приятно слышать обо всех шалостях, которые он затевал с детьми, о его забавном тщеславии, о гимнастических трюках, которые он совершал для них и вместе с ними; о бесконечных вечеринках в крокет, лаун-теннис и прыжках с трамплина в Яснополянском саду. Он не только разделял все занятия молодежи, но и был их жизнью и душой. Шестидесятилетний мужчина бегаёт наперегонки с мальчиками, его велосипедные прогулки простираются, к большому беспокойству графини, более чем на тридцать верст. “Когда есть какое-то занятие, требующее ловкости, силы, и гибкости, - комментирует сторонний наблюдатель, - он не сводит глаз с игроков, он вкладывает всю душу в

их успех или неудачу. Часто он не может устоять и присоединяется к нам с юношеским пылом и мускульной гибкостью, которым посторонний мог бы только позавидовать”. В семейном кругу он совершал самые откровенные нелепости. Он изобрел игру под названием "Нумидийские всадники", которая заставляла детей плакать от восторга. Лев Николаевич внезапно вскакивал со стула, поднимал руку и бегал по комнате, размахивая ею в воздухе, после чего все, взрослые, дети и вообще все остальные, следовали его примеру. Это, повторяю, очаровательно, хотя и немного странно. Это становится еще более очевидным, когда мы узнаем, что все эти приподнятые настроения возникают в годы после его “обращения”, в период его душевных кризисов, аскетических затмений и богословских размышлений. Но что сказать об инциденте, зафиксированном его тестем Берсом? Однажды вечером они вместе прогуливались по комнате, ведя легкую беседу, как вдруг пожилой пророк вскочил Берсу на плечо. Вероятно, он сразу же снова спрыгнул вниз; но на секунду он действительно взгромоздился туда, как седобородый кобольд - это вызывает сверхъестественное чувство! Я не прошу моих читателей представить себе Гете в его поздний период, неожиданно прыгающего на плечо посетителю. Существует решительная разница в темпераментах, это очевидно. Но сходство от этого не становится меньше.

Присмотревшись к этому вопросу повнимательнее, я нахожу, что существует комплекс проблем, “проблематичность”, свойственная сынам природы, творческим и объективным художникам, которая совершенно чужда детям идеи и, несмотря на все яркое сияние благосклонности, в котором они пребывают, набрасывает на них странное темное облако, которое должно значительно охладить их сознание аристократического благополучия. Мне кажется, что это чистое заблуждение - думать, что конфликт и сложность присущи духу, в то время как царство природы должно быть наполнено яркостью и гармонией. Похоже, что на самом деле все наоборот. Если то, что мы называем счастьем, состоит в гармонии, ясности, единстве с самим собой, в сознании позитивного, уверенного, решительного склада ума, если, короче говоря, это покой, пребывающий в душе, тогда очевидно, что сынам духа достичь счастья гораздо легче, чем детям природы. Ибо последние, хотя, несомненно, их уделом должно быть простодушие, похоже, никогда не обретут той радости и покоя, которые это могло бы даровать. Сама природа, по-видимому, вплетает в само их существо сомнительную нить, элемент противоречия, отрицания и всепроникающего сомнения, которое, поскольку оно не может вести к добру, не может вести и к счастью. Дух добр. Природа ни в коем случае не добра. Можно было бы сказать, что она злая, если бы по отношению к ней были допустимы моральные категории. Таким образом, она не добрая и не злая, она ускользает от определения, поскольку сама отказывается определять и судить; она, говоря объективно, безразлична, и поскольку это ее безразличие проявляется субъективно и духовно в ее детях, это становится осложнением, которое больше связано с мучениями и злом, чем со счастьем и добродетелью, и которое, безусловно, кажется, пришло не для того, чтобы принести в мир мир, подобный человеческому и доброжелательному духу, а скорее для сомнения и ужасного замешательства.

Очевидно, я говорю здесь не о сравнительно безобидном конфликте между фаустовскими “двумя душами”, о битве между импульсами сильного животного телосложения и стремлением к “*Gefilden hoher Ahnen*” — битве и “проблематике”, о которой Гете говорит, исходя из такого глубокого опыта, и которая не только сделала юность Толстого периодом таких лишений, таких терзаний угрызаниями совести, но и сохранилась в нем до глубокой старости. Я говорю о том,

что на первый взгляд кажется гораздо более беспечным и простым: о позиции, подобной позиции Гете между Лафатером и Базедовым, в которой Гете называет себя *“человеком в рукавице”*. Это звучит просто, и приятно, и самодовольно, и, вероятно, так и было задумано. И все же в слове *“Weltkind”* и ассоциациях, которые его окружают, есть что-то зловещее, трудное и “проблематичное”, по сравнению с которым “пророческое” существование - не что иное, как сладость, легкость и беззаботность. “Склонность Гете к отрицанию,” пишет канцлер фон Мюллер по тому или иному поводу, - и его невероятное правосознание снова проявились с новой силой”. “Есть нечто, - пишет Горький о Толстом, - чего он, по-видимому, никогда не откроет ни одному человеческому существу, что мрачно проявляется в его разговорах и на что намекают в его дневниках. Мне это кажется апофеозом отрицания, глубочайшего и наиболее отвратительного нигилизма, проистекающего из слоя безграничного и безнадежного отчаяния, из одиночества, о котором, вероятно, никто другой в мире никогда так остро не осознавал”. Никто? Не Толстой создал столь лирическую фигуру Мефистофеля - хотя на самом деле ни в один период его жизни не было недостатка в мефистофельском элементе. Непрерывное, мучительное усилие сформировать то, что он называет своей концепцией жизни, достичь истины, ясности и внутреннего покоя, нашло выражение в его юности, отчасти в мрачной раздражительности, которая приводила к дуэлям и сценам с друзьями, которые он воспринимал с отчаянной серьезностью, как вопросы жизни и смерти, убийства и умирания; но отчасти также и в злобном отрицании вообще, враждебном духе противоречия, который, как нас недвусмысленно заверяют, производил совершенно мефистофельское впечатление. Хотя, конечно, это была не нигилистическая, а моральная позиция, и предполагалась она только в противовес вещам, которые не были истинными — только они были просто всем! В молодом Толстом “с самого начала была заметна своего рода бессознательная вражда ко всем общепринятым законам в царстве мысли. Независимо от того, какое мнение выражалось; и чем выше был авторитет оратора, тем больше Толстой старался подхватить и подчеркнуть враждебное отношение. Если вы наблюдали за ним, когда он слушал, и видели саркастический изгиб его губ, вы не могли отделаться от впечатления, что он думал не столько о том, чтобы ответить на сказанное, сколько о том, чтобы самому сказать что-то, что должно удивить и поставить в тупик говорящего”. Это нигилизм, это злоба. Но это не столько холодная злоба, сколько мучительная злоба против любого, кто воображал, что владеет секретом ясности и истины. Это неверие в ясность и истину. Эта злоба и это недоверие были особенно направлены против Тургенева, человека с ясными глазами и человечностью, с которым он никогда не мог ужиться. “Толстой,” сказал Тургенев, “рано развил в себе черту характера, которая, лежа в основе его мрачного мировоззрения, причиняла ему большие страдания. Ему никогда не удавалось поверить в искренность человечества. Каждое выражение чувств казалось ему фальшивым; и у него была привычка, благодаря своему необычайно пронизательному взгляду, сверлить взглядом человека, которого он считал неискренним”. И когда Тургенев сказал это, он добавил признание, что никогда в жизни он не встречал ничего, что могло бы с такой силой привести его в уныние, как этот пронзительный взгляд, который, сопровождаемый двумя-тремя язвительными замечаниями, мог довести до безумия любого, кто не обладал особенно сильным самообладанием. Теперь самоконтроль Тургенева был силен. Он был на пике своего литературного успеха; безмятежный и безмятежный, он мог противостоять сложностям своего более молодого коллеги со спокойствием человека, который жил в хороших отношениях с самим собой. Но именно эта безопасность и беспокоила Толстого. Кажется, он намеренно общался с этим спокойным, добродушным человеком, работая с такой ясной убежденностью в том, что то, что он делал, было правильным, чтобы вывести его за пределы

самоконтроля. Просто эта убежденность в том, что он знал и делал то, что было правильно, была больше, чем Толстой мог вынести; ибо, конечно, он сам ни в малейшей степени не знал, что было правильно. Гаршин говорит: “По его мнению, люди, считавшиеся хорошими, были просто лицемерами, которые выставляли напоказ свою доброту и притворялись, что уверены в том, что их работа служит благой цели”. Тургенев тоже видел в Толстом эту странную, зловещую, злобную склонность. Он решил твердо придерживаться того, что считал “правильным”, и не терять самообладания; поэтому он избегал Толстого, покинул Санкт-Петербург, где жил последний, и уехал сначала в Москву, а затем в свое поместье. Но — и это самое важное из всех свидетельств душевного состояния Толстого — Толстой последовал за ним. Следовала за ним шаг за шагом, “как влюбленная девушка”, по выражению самого Тургенева.

Все это очень показательно, очень необычно. Прежде всего, это показывает, насколько полно старый Толстой, о котором пишет Горький, отразился в молодом. Действительно ли он когда-нибудь выяснял, что было “правильным” - реальным, истинным, неопровержимым? Для других он это сделал, он убедил их. Но сам он, конечно, так и не освободился от отрицания и нейтральности элементарного характера. “Руссо, “ сказал он, ” лгал и верил в свою ложь”. Верил ли он в свою собственную ложь? Нет, потому что он не лгал. Он был стихийным, нигилистичным, злобным и непостижимым. “Вы бы очень хотели знать?” — спрашивает он. - “Очень”. — “Тогда я тебе не скажу”. И он улыбается и играет большими пальцами. Эта улыбка, эта “лукавая улыбочка” — Горький говорит о ней снова и снова. В этом есть что-то не только неморальное, но и внерационально ментальное, внечеловеческое; это указывает на тайну “естественного”, элементарного, которое вовсе не доброжелательно настроено, а скорее получает удовольствие от замешательства. По словам Горького, старик любил задавать коварные вопросы. “Что вы думаете о себе?” “Вы любите свою жену?” “Как вам нравится моя?” “Я вам нравлюсь, Алексей Максимович?” — “Неискренний!” Горький кричит. “Все это время он проводит эксперимент, проверяет что-то, как будто идет в бой. Это интересно, но не в моем вкусе. Он дьявол, а я рядом с ним младенец на руках. Он должен оставить меня в покое”.

Однажды Горький видит постаревшего Толстого, одиноко сидящего у моря. Эта сцена - венец его воспоминаний. Он сидел, подперев голову руками; ветер пропускал серебристые волосы его бороды сквозь пальцы. Он смотрел вдаль, на море, и маленькие зеленые волны послушно подкатывались к его ногам и ласкали их, как будто хотели рассказать старому волшебнику что-то о себе.... Он казался ожившим древним камнем, который знал и размышлял о начале и конце всех вещей, а также о том, каким будет конец камней и трав на земле, вод моря, всей вселенной от солнца до песчинки. И море - часть его души, и все в нем исходит от него и из него. В задумчивом спокойствии старика я почувствовал что-то зловещее, волшебное. Я не могу выразить словами то, что я больше чувствовал, чем думал в тот момент. В моем сердце были радость и страх, затем все слилось в одно блаженное чувство: “Я не обделен на этой земле, покана ней живет этот старик”. И Горький крадется прочь на цыпочках, чтобы песок не хрустел под его ногами и не мешал мыслям старика.

Мистическое благоговение, которое изображает здесь Горький, - это не то, что овладевает нами при виде героев “идеи”. Ни Достоевский, ни Шиллер не внушали такого благоговения и трепета, какими бы святыми они ни казались. Это несомненно. Не может быть точно такой же природы и благоговения, испытываемое к Гете, хотя и сродни ему. Толстовское величие и отдаленность дикие, первобытные и языческие по своей природе, они предшествуют культуре. Им не хватает человеческого, гуманистического элемента. Этот древний от века и мудрости, размышляющий

там, на краю вечного моря, окутанный Всем Сущим, управляющий началом и концом вещей — картина вызывает в памяти сумеречный, дочеловеческий, сверхъестественный мир чувств, мир заклинаний и рун. О чем он размышляет, норны нашептывают тебе по ночам. Он был подобен, говорит потрясенный зритель, ожившему древнему камню: заметьте, камню, а не чему-либо, созданному цивилизацией, не человеку, созданному по подобию Бога, не человеческому существу, подобному Гете. Гуманистическая божественность Гете явно чем-то сильно отличается от первобытной языческой бесформенности Толстого, что заставляет Горького сказать о нем: “Он дьявол”. И все же в самой основе сохраняется общий фактор: в Гете тоже присутствует элементарный, зловещий, темный, нейтральный дьявол, любящий отрицание и путаницу.

Есть его высказывание, достаточно произвольное, но с оттенком скрытого страдания, которое открывает нам больше о его внутреннем “я”, чем многие ясные, мудрые и упорядоченные высказывания. “Если я должен прислушиваться к мнению других, ” сказал он (и только прислушиваться к нему, наблюдать, а не принимать его), “ то оно должно быть выражено позитивно. Проблем у меня и без того достаточно”. Это признание, облеченное в форму требования. В нем слышен гордый олимпийский акцент, но голос, произносящий его, дрожит от нетерпения, от болезненного раздражения из-за внутренних сложностей, из-за которых так важно, чтобы позитив приходил извне.... “Одним глазом он смотрит ангелом, - пишет кто-то, кто познакомился с ним во время путешествия, “ другим - дьяволом; и его речь полна глубокой иронии по отношению ко всем человеческим делам”. Из всех? Это здорово, но не великодушно - и, в конце концов, разве он сам не мужчина? Тот, кто часто видел его, говорит: “Сегодня он был полностью в том настроении горького юмора и софистической противоречивости, которые он так склонен демонстрировать”. И снова мы сталкиваемся с отрицанием, духом противоречия и злобы, о которых нежный юноша Сюльпис Буассере так много рассказывает в своем дневнике. “В одиннадцать часов я снова с Гете. Брань продолжается”. Он берется за самые разные вещи: политику, эстетику, общество, религию, Германию, Францию, филэллинство, вечеринки и так далее, в таком стиле, что бедный молодой Буассере чувствует себя — *“мит аллен мертв, красен”* — как будто он “на шабаше ведьм”. Это говорит о многом. Оно либо слишком сильное, учитывая слово “мокрый”, которое он использует, либо это слово слишком слабое, что более вероятно. Во всяком случае, запись, датированная 1826 годом, показывает, в какое замешательство мог привести вздорный старик простых и скромно мыслящих людей. Наблюдатель, который, должно быть, не был дураком, написал о нем нечто такое, что вызывает тайный ужас, который каким-то образом парализует. “Он терпим, но не мягок”. Просто подумайте, что это значит. Терпимость, снисходительность всегда, в нашем человеческом опыте, ассоциируется с мягкостью, с благожелательным чувством по отношению к человеку и вселенной; насколько я знаю, это продукт любви. Но терпимость без любви, жесткая терпимость — что бы это было? Это больше, чем человеческое, это ледяной нейтралитет, это либо что-то богоподобное, либо что-то дьявольское.

Я не скажу ничего нового, но, возможно, это внесет порядок и ясность в наши мысли, если мы будем помнить тот факт, что любой национальный характер относится к естественной сфере, а любая тенденция к космополитизму - к духовной. Слово “этнический” объединяет две концепции, которые мы обычно не связываем, язычество и национализм; таким образом,

косвенно и наоборот, каждая сверхнациональная и гуманная точка зрения классифицируется в нашем сознании как христианская по духу.

Предполагаемая приверженность Гете язычеству (в *"Странствиях"* он причисляет иудаизм к этническим и языческим народным религиям) заставила бы нас соответственно ожидать от него мировоззрения, в основе своей антигуманистического и народно-национального. То, что мы были совершенно неправы в этом ожидании, как основной конституции в нем, как "природе", может быть спорным. Однако, насколько он сам осознавал, он был сознательным гуманистом и гражданином мира. Несмотря на всю свою олимпийскую и божественную натуру, он был в высокой степени христианином по духу. Ницше поместил Гете, с исторической и психологической точки зрения, между эллинизмом и пиетизмом; и таким образом выразил сочетание творческого и критического, простого и "сентиментального", древнего и современного в характере Гете. Ибо "пиетизм" Гете - это, конечно, не что иное, как его современность. Многие столетия христианского культивирования субъективного — целое столетие пиетистской, интроспективной, автобиографической дисциплины — потребовались, чтобы сделать возможным такое произведение, как *"Вертер"*. Это все равно что сказать, что в стремлении к автобиографии христианские и демократические элементы смешаны с той наивной, избалованно-милой претензией на привязанность мира, о которой мы говорили выше. Они совпадают с той демократической тенденцией, источником которой Толстой любит считать свои признания; когда, в истинно руссоистской манере, он решает "написать историю своей жизни, полностью соответствующую фактам", в уверенности, что это "будет более полезно человечеству", чем предыдущие двенадцать томов, полных литературной болтовни. Он, кажется, не осознает, что они настолько автобиографичны, настолько этичны по своему характеру, насколько это вообще возможно, и отвергает их как языческие и художественные, как потакающие своим желаниям и "безответственные".

Гете, при всем своем отвращении к "Кресту", часто и недвусмысленно признавал свое благоговение перед христианской идеей. Столь же знаменательно, сколь и удивительно натолкнуться на идею святости страдания в Сфере педагогики; и если Гете видел в Церкви "элементы слабости и неустойчивости", а в ее заповедях *"gar viel Dummes"*, то все же он свидетельствовал, что "в Евангелиях есть действительное сияние и величие, исходящие от личности Христа, характер, в котором только божественное проявляется на этой земле". "Человеческий дух," говорит он с сочувствием и открыто признает товарищество, "никогда не поднимется выше величия и моральной возвышенности христианства, как это излучается из Евангелий". Но христианство Гете проявляется в замечательном отношении ученика к учителю, которое он питал к Спинозе, которого он называл *"theissimus"* и о котором он сказал, что никто не говорил о Божестве так похоже на Спасителя, как он. Если дуалистическое разделение Бога и природы действительно является фундаментальным принципом христианства, то Спиноза был язычником, и Гете тоже. Но Бог и природа - это еще не весь мир: есть также человеческое; и концепция человечества Спинозы является христианской, поскольку он определяет феномен человека как *сознание* Божественной природы в человеческом существе, как прорыв из простого скучного бытия и жизнь; соответственно, как освобождение от природы, а значит, и как дух. Опять же, нет абсолютно ничего языческого в этом знаменитом *Овладевании Страстями посредством их анализа*; и так же мало в спинозовском мотиве отречения (*"Entsagung"*), который становится общим мотивом жизни и творчества Гете, как идея свободы у Шиллера и идея искупления у Вагнера.

Напротив, именно этот пафос отречения придавал такой христианский оттенок языческому, аристократическому, естественному благополучию жизни Гете и придавал его одухотворенным чертам отчетливо готическую черту страдания, которую нельзя не заметить, за исключением грубой народной веры в его аристократическую удачу. Какое смирение, должно быть, омрачило конец этого, казалось бы, совершенного и благоприятного существования! Дело его жизни, хотя и почти сверхчеловеческое, полностью осталось фрагментом — мягко говоря, “не все мечты о цветении созрели” — спектакль Вагнера, например, или Ибсена, несравненно более округлое и эффектное целое. Можно сказать, что дух Гете был гораздо могущественнее его натуры, больше, чем его способность придать ему форму или чем органически отведенный ему срок; и легко понять его неистовое требование бессмертия, которое является одним из великолепных демонических выражений его личности: природа, кричал он, была обязана дать ему новое тело, когда то, которое у него было, больше не могло поддерживать его дух.

Рассмотрим даже его личную жизнь, которую народное сознание также склонно считать освещенной солнцем и блаженной, божественно благосклонной и без креста. Конечно, он был очень любим и богат любовью; конечно, ему доставлялось много удовольствия. В сфере эротики у него бывали приступы грубости, когда он вел себя немного как садовый бог: когда, простодушный и несентиментальный, как античный мир, он наслаждался без ограничений и потакал себе без угрызений совести. Его брак, мезальянс, социальный и интеллектуальный, был результатом такого склада ума. Но там, где он любил так, результатом была возвышенная поэзия, а не просто венецианская эпиграмма, гекзаметрами выведенная на спине девушки; там, где это было серьезно, романтика обычно заканчивалась отречением. На самом деле он никогда не владел ни Лоттой, ни Фридерикой, ни Лилли, ни Герцлибом, ни Марианной, ни даже Ульрике - и даже фрау фон Штайн. Он никогда не любил безответно — за исключением чрезвычайно болезненного, абсурдно волнующего романа с маленьким Леветцофом. И все же во всех этих случаях отставка была в порядке вещей: либо по моральным соображениям, либо ради своей свободы. В основном он сбегал.

Но отречение, которое я имею в виду, было чем-то более глубоким и возвышенным. Своим ростом, своими чертами лица, своими пропорциями, какими он предстает сегодня в глазах нации, он является тем, кто он есть, как произведение самоотречения. Я говорю не в общем смысле, я не имею в виду ни чувство жертвы, которое является смыслом всего искусства; ни борьбу с хаосом, отказ от свободы, творческое ограничение, которое является его внутренней сущностью. Пафос отречения Гете — или, поскольку мы говорим о постоянных силах, господствующих над всем существованием, его этос отречения - носит более личный характер. Это его судьба, это инстинктивный мандат его сугубо национального дара, который по сути своей был цивилизаторским в своей миссии. Или, скорее, может быть, эта судьба и миссия, эта связь, это обуславливающее ограничение и педагогический долг отречения, в конце концов, были для него чем-то менее личным, чем это только сейчас казалось? Может быть, это закон его судьбы, врожденный и нерушимый, если не считать тяжелых духовных наказаний; императив, составляющий сущность немецкого духа, которому суждено всегда, так или иначе, в той или иной степени чувствовать себя призванным к культурной задаче? — Я говорил о сознании общности чувств, которую Гете, должно быть, временами ощущал с христианством. В чем оно заключалось и к чему имело отношение? Гете отдает дань уважения “моральной культуре” христианства, то есть его человечности, его цивилизирующему, антиварварскому влиянию. Это было то же самое, что и у него; и то почтение, которое он время от времени оказывал ей, несомненно, проистекало из его признания того, что миссия христианства в пределах

германских народов имела сходство с его собственной. И здесь, в том факте, что он рассматривал свою задачу, свой долг перед своей нацией, по существу, как цивилизаторскую миссию, заключается глубочайшее и наиболее немецкое значение его отречения. Сомневается ли кто-нибудь в том, что в Гете были возможности величия и роста, более дикие, ранние, более разрушительные, более “естественные”, чем те, которые позволил ему развить его инстинкт самопреодоления, и которые сегодня придают нашему ментальному представлению о нем столь в высшей степени педагогический оттенок? В его *"Ифигении"* идея человечности, в противоположность варварству, носит отпечаток цивилизации — не в том полемическом и даже политическом смысле, в котором мы используем это слово сегодня, а в смысле моральной культуры. Француз Морис Баррес отметил, что *"Ифигения"* - это “произведение цивилизации”, поскольку оно “отстаивает права общества против высокомерия интеллекта”. Эта фраза едва ли не лучше подходит к другому памятнику самодисциплины и самокоррекции, да, почти самоуничтожения, который был мишенью для насмешек из-за своей аффектированной атмосферы двора и культуры: я имею в виду *Тассо*. Оба являются произведениями смирения, немецкого и учительского отречения от всех преимуществ варварства. Вагнер, с другой стороны, сладострастник, не отказался от них; он уступил им всем с огромной эффективностью; и его наказание заключается в том, что признание, оказываемое его буйно национальному искусству, с каждым днем становится все более грубым и популярным.

Моей темой по-прежнему является стремление детей природы к духу; оно столь же сентиментально по своему характеру, как и обратное стремление сынов духа к природе, и может проявляться с разной степенью склонности или успеха, с большей или меньшей наивностью или утонченностью. По сравнению с величественной работой Гете по одухотворению, я не могу найти, чтобы борьба Толстого за то, чтобы сбросить ярмо природы, увенчалась большим успехом. Но я достаточно эксцентричен, чтобы получить удовольствие, ткнув пальцем в могучее ядро расовой лояльности, которое лежало в основе христианства одного и человечности другого. И этим ядром была, конечно, другими словами, их аристократическая целостность; ибо расовая лояльность аристократична по своей природе, в то время как христианство, человечность и цивилизация представляют собой конфликтующий принцип духа демократии, а процесс одухотворения в то же время является процессом демократизации. То, что Толстой метко называет своим “демократическим течением” — метко, потому что слово “течение” подразумевает волю и направление куда—то, указывая на усилие, а не просто бытие, - время от времени находит выразительное выражение и у Гете. “Нужно было бы, - говорит он, - сразу стать *католиком*, чтобы участвовать в жизни человечества!” Общаться с человечеством на равных, вести жизнь народа и на рыночной площади кажется ему в такие моменты счастьем. “Какие же мы жалкие, изолированные люди в этих маленьких суверенных государствах, - восклицает он, - !” И он восхваляет Венецию как памятник могуществу не отдельного деспота, а целого народа. Но такие фразы, очевидно, подразумеваются скорее корректно, чем абсолютно; это самокритичные комментарии, призванные восстановить равновесие между его немецким и протестантским аристократизмом - “тенденциями”, то есть сентиментальными наклонностями того же рода, что и радикальные и пацифистские наклонности русского гиганта, в “святости” которого пронизательный взгляд может увидеть столько самообмана, ребячества и “давайте притворимся”.

Внимательный наблюдатель, такой как Горький, или пронизательный критик, такой как Мережковский, сразу и остро почувствовали патриархальность и чувственность, связанный жизнью анимализм, который лежал в основе освящения. Толстой женился в тридцать четыре

года на восемнадцатилетней Софье Александровне Берс, которая с тех пор почти никогда не отличалась от “ожидającej”, и был заключен в тюрьму тринадцать раз. На протяжении долгих творческих лет его брак был идиллией семейной жизни, полной здорового, богобоязненного животного наслаждения, на фоне щедрого экономического фона сельского хозяйства и скотоводства. Атмосфера была скорее иудейской, ветхозаветной, чем христианской. Толстой знает ту же великую простую любовь к существованию, вечную детскую радость жизни, которая владела душой Гете. Когда он “восхваляет каждый день за его красоту”, когда он “восхищается богатством Царства Божьего”, выражающимся в нем, тем, как “каждый день Он посылает что-то новое, чтобы отличить его”, мы лучше понимаем, что лежало в основе концепции Гете о “*Бехагене*”. Волны пронзительного чувственного наслаждения природой обрушиваются на него даже в годы мрака, когда он обдумывает самоубийство, планирует *Исповедь*— короче говоря, вызывает в воображении то недоразумение, жертвой которого становится его освящение, и дегуманизирует и принижает величие патриарха, христианизирует и превращает в традицию по англо-индийской модели.

Мережковский называл его великим провидцем тела, в отличие от Достоевского - провидцем души; и действительно, именно телу принадлежат его любовь и глубочайший интерес, к нему относятся его знания, которым обусловлен его гений. Мы так ясно видим это в его реакции на старость. В 1894 году он пишет: “Возраст приближается. Это означает, что выпадают волосы, разрушаются зубы, появляются морщины, становится неприятно пахнуть изо рта. Еще до конца все становится ужасным, омерзительным; пот, румяна, пудра, все виды скотства. Тогда что стало с тем, чему я служил? Куда делась красота? Это суть всего сущего. Без этого нет ничего, никакой жизни”. — Это описание смерти, когда тело еще живо, может сойти за христианское, в силу его настойчивости в страданиях и характеристики плоти, отвратительной и оскорбительной с духовной стороны. Но физическое восприятие старости и смерти насквозь языческое и чувственное.

Аксаков говорит о Толстом: “Его дар *медвежий* по виду и степени”. И не это ли “медвежье” качество его гения сделало Толстого “великим писателем России”, автором “*Войны и мира*”, эпическим поэтом народной борьбы против Рима, против Наполеона? Я открыто заявляю о своем преднамеренном намерении поставить под сомнение пацифизм, который так назидательно исповедовал пророк человечества. Спешу добавить, не из каких-либо антипацифистских настроений с моей стороны, а просто из чувства юмора. Мы знаем, что Толстой в юности был солдатом и офицером. Из его биографии мы узнаем, что он был солдатом сердцем и душой; и у нас есть свидетельства его героического и воинственного энтузиазма в севастопольские дни — в то “великолепное время”, в то “славное время”, в то время трогательной гордости за русскую армию, когда он, по общему признанию, был переполнен патриотическими чувствами и взволнован своим опытом товарищества по оружию, впервые почувствованным в преддверии серьезного момента. Его отношение к сербско-турецкой войне 1877 года по-прежнему полно убежденности. Это *настоящая* война, говорит он, и это трогает его. Различие между “реальным” и “нереальным”, несомненно, указывает на некоторый прогресс в направлении пацифизма. Но является ли пацифизм “реальным” до тех пор, пока он условен и должен прогрессировать, чтобы существовать?

По крайней мере, в 1812 году *была* “настоящая” война, и ее история занимала Толстого задолго до того, как благодаря ей он стал великим писателем России. Он рассказывал об этом, вполне в патриотическом ключе, в своей школе в Ясной Поляне. Судя по тому, что мы слышим, он

рассматривал это скорее на мифической, чем на исторической основе; но он прямо заявил, что знакомил своих учеников с этими легендами о воинственной мифологии, чтобы пробудить в них патриотические чувства. И тогда коренной русскость, фундаментальный народный характер его крестьянско-патрицианской натуры, ярко проявляется в его эпосе, темой которого является оборонительная война, ведущаяся против вторжения латинской цивилизации. *"Война и мир"* имела огромный успех у публики, хотя критикам и военным было к чему придраться. С *интеллектуальной точки зрения оно было слабым*, говорили они; его философия истории была узкой и поверхностной; отрицание влияния отдельных людей на события было мистицизмом и софистикой. Но творческая мощь, "медвежья" сила этого произведения были единодушно объявлены не подлежащими никакому обсуждению, равно как и его огромная подлинность как народного эпоса. Либеральная критика России признавала, что она "русская до мозга костей", что она "представляет душу русского народа во всем ее диапазоне и разнообразии, во всей ее возвышенной простоте, с явной творческой силой, равной которой никогда не было". Но критики негативно оценили "умышленную удаленность Толстого от всех современных течений прогресса" — явление и упрек, которые должны были повториться с появлением *"Анны Карениной"*. *"Анна Каренина"* мне не нравится, - писал Тургенев, - хотя в ней есть великолепные вещи: скачки, покос, охота. Но все дело испорчено; оно *пахнет Москвой*, и старыми девами, и ладаном, и славянофилами, и светской жизнью, и всем таким". Одним словом, *сападник* Тургенев с ужасом отверг восточный элемент в романе, и вместе с ним ушла вся либерально-радикальная партия; одни игнорировали *Анну Каренину*, другие глумились или обзывались, в то время как славянофилы, аристократы и придворная партия радостно потирали руки. На самом деле Толстой, в интеллектуальном и политическом смысле, имел реакционеров на своей стороне; и они могли плохо оценить художественные качества его произведений. Либералы были достаточно либеральны, чтобы уметь ценить их, и они делали это, хотя и в том состоянии замешательства, в которое люди всегда впадают при виде гения в лагере реакции. Станьте свидетелем замешательства Европы по поводу Бисмарка.

Этот парадокс заслуживает небольшого внимания. Наши идеалисты хотели бы заставить нас поверить, что гений, творческая сила, должен, как живая сила, действовать только на службе прогрессу и человеческим целям, и в нем справедливо отказано силам, которые выступают против жизни, сочувствуют смерти, враждебны свободе и прогрессу и, следовательно, плохи в человеческом смысле. Мы бы почти приняли это как метафизическое доказательство доброты вещи, если бы от ее имени было написано заглавной буквой. И действительно, кажется, что, как правило, реакционный лагерь страдает от недостатка талантов. Но не всегда. Реакционный гений действительно встречается, блестящие способности к победе действительно выступают в качестве защитника ретроградных тенденций — и ничто так не ошеломляет мир, как зрелище этого парадоксального явления. Сент-Бев сказал о Жозефе де Местре, что у него "нет ничего от писателя, кроме дара" — комментарий, который прекрасно выражает это недоумение и точно указывает на то, что я имею в виду.

Либеральная и прогрессивная Россия, должно быть, увидела в Толстом именно это — пример великого дара на службе реакции. Но достаточно ясно, что этот великий дар имеет одну сущность с его фундаментальным руссизмом, его огромной интеграцией с народом, его языческим и природным аристократизмом; и что тенденция к демократической одухотворенности была всего лишь тенденцией, романтической по своей природе и увенчавшейся, в конце концов, таким поразительно безразличным успехом! Его потрясающий ориентализм нашел интеллектуальное выражение в этой насмешке над европейским

прогрессом и отрицании его; и именно это должно было неизбежно и глубоко оттолкнуть всех вестернизирующих и либерализирующихся, все “петровские” элементы в России. На самом деле, он совершенно откровенно критиковал западную веру в прогресс, которая, по его словам, была принята Россией Петра Великого. По его словам, они наблюдали действие закона прогресса в герцогстве Гогенцоллерн-Зигмаринген с его тремя тысячами жителей. Но затем появился Китай с его двумястами миллионами жителей и отправил теорию прогресса в тартарары. Что ни на мгновение не помешало им поверить в прогресс как общий закон человечества; они вышли на поле боя с пушками и ружьями, чтобы разъяснить китайцам свой тезис. И все же обычное человеческое понимание говорит нам, что если история большей части человечества, которую мы называем Востоком, не подтверждает закон прогресса, то этот закон распространяется не на все человечество, а, самое большее, формирует символ веры для определенной его части. Толстой клянется, что сам он неспособен найти универсальный закон в жизни человечества и что история могла бы быть скоординирована так же хорошо в свете любой другой идеи или “исторического каприза”, как и в свете прогресса. И более того, он не видит ни малейшей необходимости в поиске законов для истории — совершенно независимо от невозможности этого. Универсальный, вечный закон совершенства, говорит он, начертан в душе каждого человека; было бы только ошибкой переносить его на поле истории. Пока он остается личным, этот закон плодотворен и доступен для всех; применительно к историческим концепциям это пустая болтовня. Общий прогресс человечества - недоказанный тезис. Этого не существует ни для одной из наций востока; следовательно, утверждать, что прогресс является основным законом человечества, так же необоснованно, как было бы утверждать, что блондинистость — это когда все люди белокурые, за исключением тех, у кого темные волосы.

Примечательно видеть, как идеи из области идеалистического индивидуализма, присущего Германии и заключающего человеческое совершенство в индивидуальной душе, встречаются здесь в компании других, которые представляют собой самый решающий вызов высокомерной Европе, позиционирующей себя в качестве интеллектуального арбитра мира. Толстой протестует против того, что он считает ребячеством такого отношения, которое путает западную Европу с человечеством в целом; и этот протест выдает, что его взгляд направлен на восток. Одним словом, это выдает его азиатский уклон: антипет-ринический, примитивно-русский, антицивилизационный — короче говоря, *медвежий*. То, что мы слышим, - это голос русского бога на кленовом троне под золотой липой.

Голос нашего гуманистического божества звучит иначе. Гете, вне всякого сомнения, ненавидел и презирал Азию. Стихия сарматской дикости, в которой Толстой чувствовал себя как дома и которая лишь получила рационализацию в его поздний пророческий период, всегда оставалась далекой и чуждой духу великого немца с его исключительно культурным уклоном. Путешествие, которое Гете однажды совершил в Верхнюю Силезию Польши, стало поводом для его общения со славянами. Его впечатления “в основном замечательны в негативном плане”. Он наблюдает невежество, бескультурье, низкий уровень жизни, глупость. Он чувствует себя “далекимот культурных людей”. Его отношение во время Освободительной войны, каким бы оскорбительным оно ни было для патриотических чувств, восхищение и личное дружеское уважение, которые он испытывал к классическому феномену Наполеона (“этот человек слишком велик для тебя”), относятся к этой же категории. “Это правда,” говорит он в 1813 году, “я больше не вижу французов и итальянцев, но вместо них я вижу казаков, башкир, хорватов, мадьяр, кашубов, коричневых и других гусар”. Это перечисление восточных рас звучит необычайно презрительно. То, что казаки и кашубы были в стране союзниками, а французы -

врагами, похоже, не имеет для него значения. Он действительно признается, что тоже рад избавиться от галльской *солдатески*; однако он, очевидно, недалек от того, чтобы найти большее унижение в союзе с Россией и зависимости Германии от востока, чем в ее подчинении западу; и несомненно, что гуманизм писателя, создавшего "*Ифигению*", больше связан с гуманностью западной Европы, которая придала форму нашей цивилизации, чем с мягкой и дикой человеческой природой Половины Азии.

Непатриотично он заявил, что не может ненавидеть французов — он слишком многим обязан им своей культурой. Слова единственно правильные. Но (как и в случае с Толстым) веселье начинается сразу, это вопрос его натуры, той доинтеллектуальной фундаментальной конституции, о которой мы говорили, у которой были свои способы выражения и которая настолько необычайно нефранцузская, что ее вполне можно было бы охарактеризовать как в высшей степени немецкую. Было бы неправильно приводить здесь доказательства его холодности к "свободе". Ибо, во-первых, принцип порядка (*ordre*) — это нечто такое же французское, классическое и рационалистическое, как принцип свободы, который по партийным соображениям противопоставляется ему. И во-вторых, в свободе нет ничего негерманского. Мы знаем, что Гете процитировал изречение Гизо о том, что Германия дала миру идею личной свободы. Но есть в Гете нечто такое, что восстает против идеи, против доктринерства и теоретизирования; недостаток веры в то, что частное, существующее при определенных условиях, может быть когда-либо улучшено методом абстракции; то есть реализм и скептицизм в вопросах политики, которые с таким же успехом можно назвать нефранцузскими, как и сугубо немецкими, принимая Францию за страну революции, а Германию — за страну определенной национальной слабости ко всему живому, исторически обусловленному, "органическому". Мы должны помнить, что он был практичным политиком, он управлял Саксен-Веймаром. Но практическая сфера не добра к душе; это тренировка в цинизме, как выяснили многие политики, даже во Франции, где не один радикал стал консерватором и обратил оружие против народа после того, как пришел к власти. Возможно, Гете был бы более великодушен в политическом плане, если бы не утратил свой идеализм в практической области. Но это тоже маловероятно, поскольку с самого начала он был нечувствителен к исторической демократии, к истории, определяемой как эволюция идеи в массах; он был принципиально незнаком с энтузиазмом по отношению к политическим идеям и в целом воспринимал историю как биографию великих людей — аристократизм, который так же отличается отнапыщенного демократического жеста Шиллера, как и от христианско-мужичьего принижения героев в "*Войне и мире*".

Было бы глупо считать его подобострастным, несмотря на анекдот о Бетховене и императорской труппе на прогулке в Карлсбаде. Его подчинение принцам носило чисто мирской характер там, где речь не шла о личной дружбе. Когда в 1794 году фрайхерр фон Гагерн опубликовал свой призыв к разведке Германии и, в частности, к Гете поставить свое перо на службу "добру", то есть делу консерваторов — не что иное, как новый союз немецких князей с целью спасения страны от анархии, — Гете, вежливо поблагодарив его за оказанное ему доверие, дал характерный ответ, что он считает невозможным объединение князей и писателей для решения общей задачи. Несмотря на это, нам нет нужды тратить слова на его строго негативное отношение к Французской революции.

С интеллектуальной точки зрения его взгляд на человечество был циничным, то есть радикально скептическим. Но мы знаем, что это было только с интеллектуальной стороны, из

того факта, что это не мешало ему любить своих собратьев. У нас есть его признание, что простой вид человеческого лица мог излечить его от хандры. Во что он не верил, так это в составление статей и проведение любовных праздников. Мы никогда не узнаем, издевался ли Гегель или говорил с искренним энтузиазмом, когда сказал: “До тех пор, пока солнце стоит на небосводе и планеты обращаются вокруг него, никто никогда не видел, чтобы человек стоял на голове, то есть на своем разуме, и основывал на нем реальность”. В шутку или всерьез, именно это возмутило Гете. Он считал совершенно противным природе пытаться настаивать на том, чтобы все человечество нашло только один выбор средств, только один путь к гражданскому счастью. По этому поводу я могу прокомментировать следующим образом: что, во—первых, одно такое высказывание, в силу его ярко выраженного националистического, индивидуалистического, аристократического акцента, перевешивает все бремя его безразличия к Освободительной войне, и что, несомненно, тому, кто его произнес, помешало только его восхищение гением Наполеона — также аристократического по своему происхождению - увидеть в *Императоре* знаменосца именно этой демократической “настойчивости”. Но, во-вторых, мы должны признать, что он имел право выступать в качестве защитника природы. Процитирую еще раз:

Franztum drängt in unsern verworrenen Tagen, wie einstmals

Luthertum es getan, ruhige Bildung zurück.

(Движимый духом Франции в наши беспокойные дни, как и прежде

Подавленная духом Лютера, тихая культура отступает.)

Какой выразительный синтез Франции и Лютера; как непредвзято к национальному чувству! Ему все равно, с какой стороны исходят волнения, отвлекающие факторы. Независимо от того, откуда это исходит, это его враг, враг природы и культуры, *ruhige Bildung*, которая лежит в основе его представления о человечности. Этот дистих ясно показывает — показывает это, несмотря на всю *Жажду протеста*, — где он находился бы, скажем, в шестнадцатом веке. Во имя этой возвышенной концепции *Bildung*, в которой объединяются природа и культура, он был бы за Рим против Реформации — или же он занял бы двусмысленную и безответственную позицию, как это сделал Эразм, о котором Лютер сказал, что покой был для него дороже Креста. “Крест” — пару столетий спустя это была Революция. Революция была духом — и Гете был дороже его *ruhige Bildung*.

Здесь, на мгновение, Эразм и Гете встречаются в атмосфере патрицианского квиетизма, гуманистического миролюбия. Но параллель длится недолго — слишком большая разница в масштабах, и, в конце концов, на характер мужчин, на суть их существа, сильно влияют их пропорции. “Народность” Толстого, например, — разве это не выражение его медвежьей туши? Разве это не одно и то же? И разве мы не можем сделать из величия Гете *априорный* вывод о том, что его гуманистический космополитизм должен содержать крупное расовое ядро? Утонченный Эразм не был “народным”. Таким был Лютер. И действительно, по масштабу, по сути, как воплощение германского величия, Гете принадлежит больше к Лютеру, чем к гуманистам — да, больше даже к Бисмарку, к которому он гораздо ближе, чем, казалось бы, может показать некая антитеза, любимая за границей.

Возможно, опасно так говорить — поскольку это помогает и утешает пещерных медведей национализма во всем мире, - но иногда трудно не испытывать скептицизма по поводу искренности и обоснованности гуманизма Гете. Богоподобный человек, как Толстой. Но возможно ли, что античные, гуманистические, жизнерадостные атрибуты его божества были скорее условностью, чем мы думаем; что они не были очень глубокими, и что сам он все время, подобно Толстому, русскому богу под золотой липой, был этническим божеством, извержением того германского и аристократического язычества, которое называет и Лютера, и Бисмарка своими сыновьями и которое с обеих сторон сыграло определенную роль в идеологии последней войны?

В определенных литературных, гуманных и радикальных кругах действует открытая враждебность как к Гете, так и к Бисмарку, требующая его свержения. Это не может быть лишено всякого смысла или оправдания. Гете, как последователь Спинозы, рассматривал все естественные конечные причины и назначения как антропоморфные фикции; таким образом, он не был склонен к антропоцентрической, эмансипирующей концепции человечества, которая телеологически относит все к себе и рассматривает искусство как слугу человечества. Его синтез искусства и природы не является гуманитарным. Подход путем чувств естествен для него: это заставляет его воспринимать сожжение крестьянского дома как реальное и вызывающее его симпатии, тогда как “падение Отечества” он счел бы пустым звуком. Все это, если говорить откровенно и легкомысленно, никогда не бывает слишком далеким от грубости.

В нем есть жажда власти, борьбы “до тех пор, пока один не окажется сильнее другого”; при таких чувствах пацифизм духа счел бы невозможным радоваться. “Ему грустно дружить со всеми”. Ему “нужен гнев”. Конечно, это не христианская любовь к миру, хотя она может быть и лютеранской, и бисмарковской в придачу. Можно было бы многое сказать — и многое было сказано — в доказательство его любви к борьбе, его пристрастия к “вмешательству и наказанию”, его готовности заткнуть рот противоположным мнениям демонстрацией власти и “удалить таких людей из общества”. Но больше всего я люблю — хотя бы потому, что это так забавно, — повесть о Коцебу и праздновании Шиллера, которую Коцебу затеял с единственной целью досадить Гете и настроить Шиллера против него. Этот недалекий Коцебу! Он *знает*, что этот план разозлит старика; он также знает, что Гете может запретить празднование в силу своего положения. Поэтому он ставит перед собой выбор: он может запретить это и тем самым выдать свою ревность и деспотизм; или, если он не решается зайти так далеко, он может прикарманить раздражение. С величественной простотой Гете решает проявить свою власть. Он *запрещает празднование*. Бисмарк поступил бы так же.

В душевном строении этой породы гигантов есть определенные параллельные черты. Есть насилие и есть сентиментальность: грубые слова для описания того, что я имею в виду, грубые и натуралистически уничижительные; и все же я использую их с юмором; ибо даже если бы я захотел, я не смог бы игнорировать скрытую иронию — вполне объективную, совершенно неожиданную иронию, конечно, — связанную с их гигантской преданностью, их аристократическим рабством. Они оба были “верными немецкими слугами своего Господа” (о, Боже мой!): “гражданский Валленштейн” и деспоткультуры; они оба были немецкими “*Эделькнехте*”; и во всем этом не было ничего лицемерного, только их гигантская чувствительность работала на полную катушку. Сходство характера и ситуации настолько сильно, что приводит в замешательство: Карл Август и простой старик, которому Бисмарк “служил”, сливаются в одну символическую фигуру. В 1825 году герцог Саксен-Веймарский

отпраздновал пятидесятилетие своего правления, которое в то же время было пятидесятилетием пребывания Гете в Веймаре. В этот день Гете называет себя “самым восхищенным слугой своего хозяина”. Он первый со своими поздравлениями, в шесть часов на римской вилле в парке. Эмоции велики и неподдельны. “Вместе до последнего вздоха!” Мы видим, как почтенный Вильгельм идет навстречу Бисмарку на лестничную площадку с точно таким же объятием; в то время как мимолетный румянец заливает щеки Родериха фон Позы, который отворачивается со словами: “Я не могу быть придворным!”

Вначале я признался в своей склонности делать из размера вопрос внутренней ценности. Величайший немецкий поэт также должен быть самым немецким — это ассоциация более непосредственная и неизбежная, чем даже причинная, она временная, это просто будущее время. И это было санкционировано источником, который будет общепризнан как авторитетный. Именно отец Ян, *motu proprio*, в 1810 году заявил, что Гете был самым немецким из поэтов, совершенно не смущенный тем фактом, что Гете всегда вел себя так же отстраненно и несимпатично по отношению к *немецким брудершафтам*, как Толстой по отношению к славянским. И затем, в 1813 году, когда ему почти удалось создать о себе дурную славу человека без родины, Барнхаген фон Энзе воскликнул: “Гете не был патриотом Германии? Вся свобода Германии рано нашла приют в его груди, чтобы стать, к нашему никогда не признаваемому достоинству, образцом, примером и корнем нашей культуры. В тени этого дерева мы все живем и движемся. Никогда корни так крепко и глубоко не вонзались в душу нашего Отечества, никогда побеги так жадно не высасывали силу из его груди. То, что наша молодежь чувствует гордость за свое оружие, возвышенность своего духа, имеет к нему большее отношение, чем ко многим другим, кто может претендовать на большую активность в этом деле”.

Хорошие, прекрасные, сильные слова. Они исходят из истины, что в национальных вопросах очень мало зависит от того, что говорит человек или каких мнений он придерживается; с другой стороны, от того, что он делает, зависит все. Когда человек написал “Гец”, “Фауст”, “Вильгельм Мейстер”, “Весна в Реймене” и “Герман и Доротея”— поэму, которую Шлегель удостоил эпитета “*фатерлянд*”, — он может позволить себе немного космополитической безответственности, точно так же, как “великий писатель России” мог позволить себе рационализирующий христианский пацифизм своего последнего периода. пацифизм. Национальное в такой степени является второй натурой, что можно обращаться к разуму, не рискуя впасть в литературный нереализм; и поскольку натура Гете всегда чувствовала национальное — мы видим это, среди прочего, в знаменитом замечании Эккерману: “Национальная ненависть, в конце концов, странная вещь. Вы всегда обнаружите, что оно наиболее острое и жестоко *на низших ступенях культуры*. Но есть стадия, когда это совершенно исчезает, и человек стоит в некотором смысле над нациями и чувствует благополучие или неблагополучие соседнего народа так, как если бы оно было его собственным. Эта стадия соответствовала моей натуре, и я утвердился в ней задолго до того, как мне исполнилось шестьдесят лет”.

Духовное возрождение. Этот призыв к достижению духа является сентиментальным императивом любимцев природы; точно так же, как призыв сынов духа является призывом к достижению формы. И они реагируют на это — с большей или меньшей готовностью. Поставленная Толстым перед собой задача избавиться от естественного человека была всего лишь одухотворением дикаря; и все же это трогательное и благородное зрелище, даже рядом с

величественной культурой Гете. Главное, чтобы ничто не давалось слишком легко. Природа, не требующая усилий, — это грубо. Дух, не требующий усилий, не имеет корня - или субстанции. Возвышенная встреча природы и духа, когда они взаимно стремятся друг к другу, — вот что такое человек.

Горький говорит о Толстом совершенно необычную и поразительную вещь: он предполагает возможность того, что Толстой, несмотря на силу своего разума, иногда надеялся, или, по крайней мере, ему приходила в голову мысль, что, возможно, природа сделает исключение и дарует ему физическое бессмертие. “Вся широкая земля смотрит в его сторону: из Китая, из Индии, из Америки, отовсюду тянутся сюда живые, вибрирующие нити, его душа для всех и навсегда. Почему бы природе не нарушить свой закон и не даровать одному человеку физическое бессмертие — почему бы и нет? Что за безумие! Но даже если это неправда, даже если здравомыслящему старику никогда не приходила в голову такая чудовищно самонадеянная мысль — тем не менее, очень показательно, что Горький додумался до этого занега. Это показывает то, что компетентному наблюдателю казалось отношением Толстого к природе и жизни.— А Гете? Вероятно ли, что седовласый любовник фрейлейн фон Леветцкоф никогда не восставал против ограниченности человеческой жизни, как Наполеон против ограниченности человеческой власти, когда жаловался, что люди стали неверующими, не желающими признавать его богом, как когда-то его брата Александра? Должны ли мы представить его совершенно неспособным к мысли, которую Горький приписывает старику Толстому: что природа, возможно, колебалась бы уничтожить его, своего дорогого сына, как она сделала со всем обычным человечеством?

И все же он умер без предупреждения в возрасте восьмидесяти трех лет. Природа, так сказать, нежно обошла его стороной. Он был болен; он устроился в своем кресле, чтобы отдохнуть и вздремнуть, и его не было. Известен отрывок, в котором Эккерман описывает внешний вид трупа. “Тело лежало обнаженным, завернутое в белую простыню; вокруг него были положены большие куски льда, чтобы сохранить его свежим как можно дольше. Фридрих (слуга) развернул простыню, и я был поражен божественным великолепием этих конечностей. Грудь чрезвычайно мощная, широкая и глубокая; руки и бедра полные и слегка мускулистые; ступни стройные и очень целомудренной формы; и нигде на теле нет и следа жира, усыхания или увядания. Совершенное человеческое существо лежало передо мной в великой красоте; и восторг, который я испытал, заставил меня на мгновение забыть, что бессмертный дух покинул такое обречение”.

Пусть не будет никаких недоразумений. Никто не утверждает, что Гете и Толстой были, так сказать, четырехугольниками; что в отличие от болезненных гениев Шиллера и Достоевского они были “нормальными” в общепринятом смысле этого слова. Даже гений, наиболее одаренный природой, никогда не бывает естественным в обывательском смысле, то есть нормальным, здоровым и соответствующим правилам. В его физическом облике всегда должно быть что-то взвинченное и раздражительное, склонное к кризисам и болезням, в его психическом облике всегда есть что-то чуждое обычному человеку, воздействующее на него сверхъестественно - что-то почти психопатическое; хотя обывателю нельзя позволять выражаться подобным образом.... Нет; я имею в виду здесь тот *дар чувств, которым обладала*

благородная раса Антеев и который воспет в "Фаусте" Гете в словах, обращенных к Земному Духу:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,

Warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst

Dein Angesicht im Feuer zugewendet.

Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,

Kraft, sie zu fühlen, zu geniessen. Nicht

Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,

Vergönnest mir, in ihre tiefe Brust

Wie in den Busen eines Freunds, zu schauen....

“Способность чувствовать природу и наслаждаться ею”. Чувственный дар Толстого как личности, должно быть, был свойствен благородному, высокочувствительному животному, наиболее совершенным образом наделенному природой и усиленному и сублимированному созерцательной силой и осознанностью человеческого существа. Его глаза, маленькие пронизательные серые глазки под кустистыми бровями, были как у сокола. Они видели все. Они были способны на такой пронизательный анализ, что иногда казались фантастическими. Один критикоднажды написал о нем: “Иногда вы способны сказать: ‘То-то и то-то в телосложении определенного человека указывало на то, что он хотел поехать в Индию’.” Его обоняние, похоже, было особенно пронизательным. Этот факт играет немалую роль в чувственной атмосфере его творчества и, похоже, временами вступает в противоречие с его собственными человеческими чувствами. “Как бы мне ни было неприятно говорить об этом, - говорит он в своих *Воспоминаниях*, - я все еще помню характерный резкий запах, который исходил от моей тети, вероятно, из-за некоторой небрежности в одежде”.

Я уже говорил о чувствительности Гете к погодным условиям. Это было связано с его почти преувеличенной наделенностью чувствами; и стало положительно оккультным, когда той ночью в своей комнате в Веймаре он почувствовал землетрясение в Мессине. Животные обладают нервной системой, которая позволяет им чувствовать такие события, когда они происходят, и даже заранее. Животное в нас превосходит; и всякая трансцендентность является животной. Крайне раздражительное чувственное оснащение человека, знакомого с природой, выходит за пределы реальных чувств и проявляется в сверхчувственном, в естественном мистицизме. У Гете божественное животное откровенно и гордо оправдывает себя во всех сферах деятельности, даже сексуальной. Иногда его настроение было приапическим — чего, конечно, не случалось с Толстым, в натуре которого отсутствовал элемент античной культуры. В нем голос сексуального желания звучал без классического акцента; он по-русски упивался своей силой; но в то же время он всегда имел моральную окраску, всегда сопровождался, возможно, даже сопровождался глубоким раскаянием. Товарищи Толстого по севастопольскому периоду его жизни свидетельствуют о том, с какой яростью даже в то время в нем бушевала борьба между чувственными и духовными порывами. По их словам, молодой граф Толстой был славным товарищем, жизнью и душой своей батареей, переполненной приподнятым настроением. Когда он уезжал, они были безутешны. “Мы ничего не слышали о нем, - говорит рассказчик, - целый

день, два или три дня. Наконец он возвращался, само воплощение блудного сына: мрачный, обрюзгший, не в ладах с самим собой. Он отводил меня в сторонку и начинал исповедоваться. Он признался во всем, просто во всем, в своих азартных играх, в кутежах, где проводил свои дни и ночи, — и, поверите ли, его раскаяние и страдания были так глубоки, как будто он совершил какое-то тяжкое преступление. Его отчаяние настолько перешло все границы, что на это было больно смотреть. Вот таким человеком он был. Одним словом, он был очень примечателен, и, по правде говоря, я никогда до конца его не понимал”.

В это мы вполне можем поверить. Угрызения совести и страдания, свидетелем которых был молодой офицер, проистекали, конечно, из того конфликта в душе самого Толстого, который впоследствии дал ему такую непревзойденную силу будоражить совесть и пробуждать в человеке страх Божий. Но глубина его моральной необходимости является точной мерой силы его инстинктов; и хотя с течением времени его природный человек все тяжелее и тяжелее переносил свое христианство, так что он жаждал избавления от его жал, все же он никогда, до самого конца, не достигал покоя. Толстой в вопросах секса продержался столько же, сколько Гете, который издевался над собой так:

Alter, hörst du noch nicht auf?

Immer, Mädchen!

Но его отношение к женщине, которую он рано научился рассматривать, подобно Отцам Церкви, как *instrumentum diaboli*, давно уже приняло такую форму, что опыт, подобный тому, который Гете испытал с Ульрикой, был немислим. Что еще более странно — или нет, но от человека с его ролью и великолепием это только то, чего нам следовало ожидать, — мы не находим ни следа ханжества или даже деликатности во всех его записанных высказываниях на эту тему. Напротив, все они отличаются языческой откровенностью, граничащей с цинизмом. Он идет гулять по берегу моря с Горьким и Антоном Чеховым и внезапно задает Чехову вопрос о молодости последнего, используя грубое библейское слово с довольно поразительным эффектом. Антон Павлович смущен, он теребит свою бородку и что-то бормочет в ответ. Старик позволяет ему некоторое время заикаться, затем, глядя на море, произносит в четырех словах собственное признание, в хороших выражениях, заканчивая очень низким и вульгарным крестьянским словом. “Когда они слетают с его грубых губ, - говорит Горький, - подобные слова теряют свой казарменный привкус и звучат совершенно просто и естественно”.

Опять же, он говорит: “Если бы Лев Николаевич был естествоиспытателем, он, несомненно, выдвигал бы самые остроумные гипотезы и совершал величайшие открытия”. Горький здесь не имеет в виду замечательное чувственное оснащение Толстого, но я склонен связывать эти две идеи. Также, по-видимому, он не имеет в виду Гете, когда приписывает Толстому скрытый гений в области естественных наук; но я имею. Мне кажется уместным тот факт, что Гете в Венеции — это было в 1790 году, во времена тех любовных приключений, прославленных в *Эпиграммах* — увидел на Лидо проломленный череп овцы и имел то морфологическое представление о развитии всех костей черепа из позвоночных, которое пролило такой важный свет на метаморфозы тела животного. Когда Горький говорит, что Толстой, если бы он занялся этим, сделал бы блестящие открытия в области естествознания, не может быть никаких сомнений в значении его слов. Он имеет в виду ту иницированную симпатию к органической жизни,

которой должны обладать те, кто является ее любимыми сыновьями, — симпатию, близкую к Эросу, и в которой берут начало биологические интуиции Гете; например, его невероятно уверенное предвосхищение клеточной теории.

Не находит ли она выражения, эта симпатия, в юношеском пафосе Гете "Ганимед"? *"Mit tausendfacher Liebeswonne sich an mein Herz drängt deiner ewigen Wärme heilig Gefühl."*... *"Aufwärts an deinen Busen, allliebender Vater!"* Разве это не находит выражения в его пантеизме, который является всего лишь объективацией его чувства, таким образом, что его собственная полная самоотдача дает ему возможность познать божественное не как нечто извне, но как просвечивающее его насквозь? В любом случае, эта органическая симпатия, этот живой интерес всецело направлены к жизни, к *"ewige Wärme"*; тогда как — и что может быть более характерным для различия между этими двумя великими детьми природы? — Самый сильный, мучительный, глубокий и продуктивный интерес Толстого связан со смертью. Именно мысль о смерти доминирует в его мыслях и творчестве до такой степени, что можно сказать, что ни один другой великий мастер литературы не чувствовал и не изображал смерть так, как он, — чувствовал ее с такой ужасающей пронизательностью, изображал ее так ненасытно часто. Поэтический гений Толстого в постановке вопроса о смерти является ключом к интуиции Гете в области естествознания; и в основе того и другого лежит сочувствие органическому миру. Смерть - это очень чувственный, очень физический процесс; и было бы трудно сказать, интересовался ли Толстой смертью так сильно, потому что его так чувственно интересовало тело и природа как жизнь тела, или же все было наоборот. В любом случае, в его фиксации на смерти также вступает в игру *любовь*: поскольку страх смерти, этот источник поэзии Толстого и его религиозного чувства, - это страх перед любовью к природе, это негативная, натуралистическая другая сторона ганимедского импульса Гете.

"Ты первый", - говорит Гете-Фауст Духу Земли:

"Du führst die Reihe der Lebendigen

Vor mir vorbei und lehrst mich meine Brüder

Im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen."

"Мои братья. Мы знаем, что именно Гете со всей серьезностью воспринял идею "близкого родства человека с животным", и что наука еще не продвинулась достаточно далеко, чтобы сделать это; его одержимость этой мыслью, эта глубокая и верная интуиция показывает нам дитя природы во всей его симпатии к органическому. Гуманность Шиллера, его концепция человека, которая в основе своей была эмансипирующей, надменно враждебной природе, вряд ли доставила бы удовольствие в такой концепции; и человек не обнаруживает идей, которым он несимпатичен, то есть в идеале несимпатичен. Не существует такой вещи, как наука, не основанная на предположениях. Научные открытия всегда являются результатом идеального предположения: средневековое утверждение *"Кredo интеллекта"* вечно верно. Вера — это орган познания; и без предвзятой идеи единого плана, на котором основано развитие мира высших позвоночных, включая человека, — в растительном мире концепция "примитивного растения" - Гете никогда бы не нашел *intermaxillare* в человеке. Я могу рассказать о забавном противоречии между его открытием и гуманистическим объяснением, которое он ему дал. Он говорит, что межчелюстная кость у животных имеет различную форму в зависимости от обстоятельств и необходимости; но когда дело дошло до человека, высшей ступени на шкале,

она спряталась от стыда, “боясь выдать животную прожорливость”. Идеальная человеческая гордость могла бы возразить, что было поистине бесчеловечно выискивать спрятанную в стыдливом виде кость и извлекать ее на свет божий.

Однако как замечательно и многозначительно видеть, что интерес Гете к медицине и биологии с самого начала был приправлен гуманизмом, его заботой о человеке и его красоте! И, следовательно, с искусством тоже; поскольку искусство у Гете было гуманистической дисциплиной, и все дисциплины и способности человеческого стремления, человеческой мудрости, человеческой силы рассматривались им как вариации и обозначения одного и того же великого непреодолимого и чарующего интереса и озабоченности, которыми является человек. Изучение человечества с точки зрения медицины и естественных наук не входило в его семейную традицию, как это было у Шиллера и Достоевского, оба из которых были сыновьями врачей, и ни один из них не задумывался о физической стороне человека. С другой стороны, мы знаем, что еще со времен своего пребывания в Лейпциге Гете занимался медициной, каждый день общался с врачами в Страсбурге, работал в анатомических кабинетах, проводил время в акушерской клинике и клинике внутренних болезней. Дух, с которым он занимался этими исследованиями, вид интереса, который он проявлял к ним, очевиден из того факта, что позже он сам читал лекции молодым художникам в академии о костном строении тела. То же самое еще яснее звучит в словах, которые он вкладывает в уста Вильгельма Мейстера в *"Странствиях"*, когда герой проходит обучение на хирурга. Его основной интерес связан с анатомией; и мы получаем очень любопытную информацию о предварительной подготовке в совершенно другой сфере деятельности.

“С помощью своеобразного метода, о котором никто и не догадывается, я уже добился значительного прогресса в познании человеческого облика; и это было во время моей театральной карьеры. Если уж на то пошло, то физический мужчина, в конце концов, играет здесь главную роль — прекрасный мужчина, прекрасная женщина! Если менеджеру посчастливится заполучить их, сценаристы комедий и трагедий будут уверены. Свободная позиция, на которой живет такое общество, делает их партнеров более знакомыми с особой красотой обнаженных конечностей, чем любые другие отношения; различные костюмы часто вынуждают их делать видимым то, что в противном случае обычно скрыто. По этому поводу у меня могло бы быть что сказать, а также о физических недостатках, которые разумный актер должен распознавать в себе или других, чтобы если не исправить, то хотя бы скрыть их. Таким образом, я был достаточно подготовлен, чтобы придать последовательность анатомическому курсу, который научил меня более точно знать внешние части, в то время как внутренние части тоже не были мне незнакомы, поскольку определенное восприятие их всегда присутствовало у меня”.

Это, повторяю, важный фрагмент информации. Мы узнаем не только, что знакомство с человеческим обликом, которым Вильгельм был обязан “свободной жизни” в театре, было удачной подготовкой к его анатомическим занятиям; но также и то, что и его склонность к театру, и его интерес к медицине были выражением одного и того же глубокого интереса, его симпатии к органическому миру и его высшему откровению, человеческой форме — интереса и симпатии, недалеких, как я уже сказал, от Эроса. Например, когда Вильгельм Мейстер однажды в анатомическом кабинете обнаруживает, что его объект — “самая красивая женская рука, которая когда-либо обвивала шею молодого человека”, - и не может заставить себя изуродовать своими инструментами это “великолепное проявление природы”. Из этого случая

вытекает его знакомство с этим замечательным человеком, “пластическим анатомом”, скульптором, который изготавливает из воска или другого материала анатомические вскрытия, обладающие свежим цветом и внешним видом естественных объектов, в надежде применить свою изобретательность и разнообразие методов, чтобы сделать демонстрации более ценными для студентов и практикующих врачей во всем мире. Далее следуют самые содержательные разговоры о связи пластического искусства и анатомических знаний, и эти два явления переплетаются самым удивительным образом, когда мастер “отлил в фигурной массе прекрасный торс юноши и теперь умело пытался избавиться от идеальной формы эпидермиса, чтобы превратить прекрасные формы жизни в настоящий препарат мышечной ткани”.

Здесь прозаические произведения позднего периода творчества Гете отсылают к его собственным юношеским мыслям и студенческому опыту. Он рано обнаружил и заявил, что знание природы и знание искусства взаимно усиливают друг друга. “Как я наблюдаю природу, - писал он из Рима, - так я теперь наблюдаю искусство и обретаю то, к чему так долго стремился, - совершенное представление о высшем, чего достиг человек; *имоя душа* больше формируется с этой стороны и смотрит в более свободное поле”. “Архитектура, скульптура и живопись теперь для меня подобны минералогии, ботанике и зоологии”, - говорит он в письме Гердеру. И еще: “Мы можем окончательно соперничать с природой в использовании искусства только тогда, когда научимся у нее, по крайней мере в какой-то степени, тому, как она создает свои произведения.... Человеческую форму нельзя постичь, просто глядя на ее поверхность; нужно обнажить ее внутреннюю сущность, разделить ее части, наблюдать связь между ними, отмечать различия, получить инструкции по действию и противодействию, запечатлеть в своем сознании скрытые, дремлющие и основные черты явления, если действительно хочешь увидеть и подражать ему, когда оно движется, прекрасное, неделимое целое, живыми волнами перед нашими глазами”. Это слова Гете, и кто мог бы усомниться в их истинности? Кто станет отрицать, что художнику выгодно обладать знанием того, что находится под кожей, чтобы он мог рисовать как невидимое, так и то, что есть: другими словами, если он относится к природе иначе, чем лирически, если, например, он побочный врач, физиолог, анатом, и спокойно знает то, что он знает и одессу? Оболочка человеческого тела состоит не только из слизистой оболочки и роговой оболочки эпидермиса, но и под ней нужно представить кориум с его сальными и потовыми железами, кровеносными сосудами и бугорками, а под ним снова жировую ткань, обивку, которая придает форме очарование. Но то, что знает и думает художник, говорит само за себя: это перетекает в его руку и производит свой эффект; этого там нет, и все же каким-то образом оно есть, и именно это придает прозорливость. Искусство, я повторяю, — это всего лишь одна гуманистическая дисциплина среди других; все они, философия, юриспруденция, медицина, теология, даже естественные науки и технология, являются лишь вариациями и подвидами одной и той же высокой и интересной темы, к которой мы никогда не сможем занять достаточно разнообразную и многогранную позицию, ибо это человек; и *человеческая форма* - это итог их всех, это, говоря словами Гете, “*non plus ultra*” всего человеческого знания и деятельности, альфа и омега всего известного нам.

Автобиография и образование. Эти две концепции встречаются снова, когда мы рассматриваем эту идею человеческой формы, это самое высокое выражение нашей симпатии к органическому. Да, в свете этой идеи, столь подлинно творческой, две концепции сливаются в одно гуманное целое: педагогический элемент присутствует, сознательно или бессознательно

(а если бессознательно, тем лучше), в автобиографическом; он вытекает из него, он вырастает из него.

Гете где-то называет Вильгельма Мейстера своим “любимым подобием (*sein geliebtes Ebenbild*)”. В каком смысле? Любит ли человек свое подобие? Если только он не страдает безнадежным самодовольством, разве вид этого не должен заставить его осознать свои собственные недостатки? Да, конечно, так и должно быть. И само это осознание необходимости совершенствования и завершенности, это осознание собственного “я” как задачи, морального, эстетического, культурного обязательства становится объективным в герое автобиографического романа, эпопеи воспитания. Для этого персонажа творческое эго выступает в роли проводника, философа и друга - одновременно идентичного и превосходящего — до такой степени, что Гете однажды назвал своего Вильгельма “бедной собакой”. Эта фраза свидетельствует о родительской нежности не только к бедняге из *егоданклен-Дранджа*, которого он создал по своему образу и подобию, но и к самому себе. И таким образом, в самом сердце автобиографического пафоса происходит поворот к педагогическому. И этот процесс объективации продолжается у Вильгельма Мейстера через введение общества Турм, которое берет в свои руки его судьбу и развитие человека и ведет его таинственными путями. В *Легиаре* все более и более очевидно, что первоначальная идея личного приключения по самосовершенствованию тяготеет к педагогике; пока в *Путешествиях* она не выходит полностью за рамки социальной, да, даже политической. В конце “*Фауста*” есть безошибочно узнаваемое проявление в поэзии того же видения союза себя и общества в образовательном процессе. Для Просветленных, которые на земле “*immer strebend sich bemüht*”, приняты на небесах юными спасенными, которые поют:

“Wir wurden früh entfernt

Von Lebechören;

Doch dieser hat gelernt,

Er wird uns lehren.”

Никто никогда не любил свое собственное эго, никто никогда не был эгоцентричен в том смысле, что воспринимал свое собственное эго как культурную задачу и трудился рано или поздно для ее выполнения, не получая, почти как бы случайно, воспитательного влияния во внешнем мире, радости и достоинства лидера и бывшего представителя молодежи. Жатва приходит только в расцвете сил, и момент осознания этого является высшим моментом в жизни продуктивного человека. Он никогда не предвидит и даже не подозревает об этом заранее. Автобиографический “бедный пес”, с юности всецело сосредоточенный на трудностях вспахивания собственной борозды или, выражаясь религиозным языком, на спасении и оправдании собственной души, и представить себе не может, что он может чему-то научить, улучшить или обратить людей. И все же наступает день, когда, все еще недоверчивый, все еще изумленный, он осознает, что учил, пока сам учился, — формируя, направляя, руководя, тренируя, накладывая свой отпечаток на молодежь силой слова, этим возвышенным инструментом культуры, наполненным эросом и связывающим сердца людей. И со дня его осознания это знание с уверенностью наполняет всю его жизнь творческим блаженством, которое оставляет далеко позади все обычные человеческие радости любви и отцовства —

точно так же, как жизнь разума имеет обыкновение превосходить все личные и чувственные вещи по ценности, красоте и великолепию.

“Я читаю Гете. У меня голова идет кругом”, - записал Толстой в своем дневнике в начале шестидесятых годов. Тогда ему было около тридцати лет, и он незадолго до этого вернулся в Россию и начал свою работу проповедника и практикующего педагога. Что он читал? Был ли контакт с немецким идеализмом и гуманизмом причиной того, что его разум так “кишел”? Это была для него чуждая сфера. Ибо у Толстого (иначе, чем у Гете) исток педагогического импульса был непосредственно социальным и этическим. Человек, наделенный способностями и достижениями, сказал он, должен делиться с теми, кому недостает таких благословений, прежде чем он сам сможет получать от них удовольствие. Этот мотив кажется мне *слабым*; рационалистический и гуманный, как и вся сознательная мысль великого художника того времени, я нахожу его глубоко неполноценным по сравнению с прекрасной человечностью Гете, в котором социальный идеал был органичным следствием культурного и образовательного. Но то, что думал Толстой, обычно было меньше того, чем он был на самом деле. И возвращаясь к нашей отправной точке: что “переполняло” его разум, когда он читал Гете и в то же время в одиночку работал школьным учителем и основателем начальной школы, чтобы претворить в жизнь педагогические идеи, которые заурчали у него в животе?

Или, скорее, поэкспериментировать с ними. Ибо он решил установить путем реального эксперимента, чему именно хотели научить людей, и в частности молодежь; это не было решено, и то, что это должно было быть решено, было его основным педагогическим тезисом. “Народ,” сказал он, “эта наиболее заинтересованная сторона во всей ситуации, партия и судья в одном лице, спокойно выслушивает наше более или менее остроумное изложение наилучшего способа подготовки и подачи своей ментальной пищи. Оно не встревожено; ибо оно прекрасно знает, что в великом деле своего умственного развития оно никогда не сделает неверного шага или не примет ничего ложного; и что все попытки направить его по неподходящим для него путям, например, по немецким путям, будут как вода для уток”. Следует признать, заявляет Толстой письменно и полемически, что немецкий тип школы желателен; это факт, за который ручается история. Но, несмотря на это, человек, как русский, может колебаться при включении в списки в пользу начальной школы, которой там еще нет. Какой исторический аргумент можно привести в пользу утверждения, что российские школы должны быть такими же, как в остальной Европе? Людям, по его словам, нужно образование, и каждый человек стремится к нему бессознательно. Более культурные классы, общество и правительственные чиновники стремятся расширить преимущества своих знаний и дать образование менее образованным массам. Можно было бы предположить, что такого совпадения потребностей обоих классов, как дающих, так и получающих, было бы достаточно. Но нет. Массы постоянно противодействуют всем предпринимаемым в их интересах усилиям по их просвещению, так что они часто совершенно тщетны. Чья в этом вина? Что более оправдано: оппозиция или система, против которой она направлена? Должна ли быть сломлена оппозиция или изменена система? Толстой решает, что дело обстоит именно так. “Не должны ли мы,” спрашивает он, “честно и открыто признаться, что мы не знаем и не можем знать, каковы будут потребности грядущих поколений; но тем не менее мы чувствуем себя обязанными исследовать? Что мы не будем обвинять массы в невежестве, потому что они не примут наше образование; но скорее обвиняем самих себя в невежестве и высокомерии, если будем

продолжать пытаться обучать их по-своему? Давайте, наконец, перестанем видеть враждебность в сопротивлении народа нашей системе и найдем в нем выражение народной воли, которая одна должна направлять нас. Давайте, наконец, примем тот факт, о котором так ясно свидетельствует вся история педагогики, что для того, чтобы образованный класс знал, что хорошо, а что плохо, он должен иметь полную власть проявлять недовольство и возможность отвергать систему, которую он инстинктивно находит неудовлетворительной; что, короче говоря, *свобода* является единственным критерием методов образования”.

“Единственный критерий образования - свобода, единственный метод - опыт, экспериментирование”. Это первая и высшая педагогическая максима Толстого. По его словам, школа должна быть одновременно средством воспитания и экспериментом, проводимым над подрастающим поколением, экспериментом, дающим все новые результаты. Другими словами, это должна быть образовательная лаборатория, где эксперимент педагогической науки стремится создать для себя прочную основу. Для этого необходимо, чтобы она функционировала в условиях, обеспечивающих ценность ее результатов, то есть в условиях свободы. Школа как таковая, заявляет Толстой, ослабляет детей, искажая их умственные способности. В самый драгоценный период развития это вырывает ребенка из семейного круга, лишает его радости свободы и делает из него пресыщенное, подавленное существо, на лице которого застыло выражение усталости, страха и скуки, в то время как губами он повторяет странные слова на языке, которого не знает. Но если мы дадим людям свободу во время их обучения, то мы также дадим им возможность высказаться по поводу своих потребностей и, более того, выбрать один из видов предлагаемых знаний. Философы от Платона до Канта единодушно стремились освободить школу от оков традиции. Они стремились выяснить, в чем заключаются интеллектуальные потребности человека, и построить новые школы на основе этих более или менее правильно сформулированных потребностей. Лютер требует, чтобы массы изучали Священное Писание по оригинальному тексту, а не по комментариям Отцов Церкви. Бэкон советует изучать природу по самой природе, а не по трудам Аристотеля. Руссо хочет учить жизни *исходя из жизни*, как он ее понимает, а не из устаревшего опыта. Вся философия выступает за освобождение школы от идеи обучения подрастающего поколения тому, что старшее поколение считало наукой; и в пользу идеи обучения их тому, в чем они сами нуждаются. И мы можем видеть из истории педагогической науки, что каждый шаг вперед заключается в большем естественном *взаимопонимании* между учеником и учителем, в меньшем принуждении и большем облегчении процесса обучения.

Таким образом, Толстой, педагог-анархист, выступает против дисциплины. “Школа, в которой меньше принуждения, ” говорит он, - лучше той, в которой его больше. Метод, который может быть внедрен без усиления дисциплинарного напряжения, хорош; метод, требующий большей строгости, безусловно, неправильный. Возьмите школу, подобную моей, и попробуйте вести разговоры о столах и углах комнат или перекидывать туда-сюда маленькие игральные кости. Сразу воцарится ужасный беспорядок, и будет абсолютно необходимо восстановить порядок. Но расскажите им интересную историю или дайте им интересное задание, или пусть кто-нибудь напишет на доске, а остальные исправят, *и выпустите их всех из-за скамеек*, и все они будут заняты, и не будет никакого озорства, и не потребуются усиления дисциплины. Мы можем с уверенностью сказать, что этот способ хорош”.

“Дети ничего не приносят с собой, ” так Толстой описывает процедуру в Ясной Поляне, - ни букварей, ни тетрадей. Нет заданий, которые можно было бы взять домой. Им не нужно ничего помнить - ничего из того, что они делали накануне. Им ничего не нужно носить с собой ни в руках, ни в голове. Они не приносят с собой ничего, кроме своей восприимчивой натуры и убежденности в том, что в школе сегодня будет так же весело, как и вчера; они думают об обучении только тогда, когда оно началось. Никого, кто приходит поздно, никогда не ругают, и они никогда не опаздывают, за исключением некоторых ребят постарше, чьи отцы иногда заставляют их работать. Когда это происходит, они бегут в школу так быстро, как только могут, и добираются туда, запыхавшись ”.

Повезло деревенским детям Ясной Поляны! Но понятно, что Толстой пытается сделать школу по крайней мере приятной для своих учеников; его вера в ее образовательную ценность слаба, и в конце концов он не делает секрета из своего убеждения — которое, как он заявляет, он вынес из личных наблюдений в школах Парижа, Марселя и других городов Западной Европы, — что большая часть народного образования дается не в школе, а в жизни; и что бесплатное общественное обучение посредством лекций, клубов, книг, выставок и так далее остается намного лучше, чем любое преподавание в школах. Но как бы то ни было, нас здесь интересует не правильность или неправильность идей Толстого, а скорее то, что в них характерно; и характерными они, безусловно, являются в высшей степени и со всех точек зрения, не только в личном смысле, но и как знак, даже как предзнаменование его времени.

Что прежде всего поражает, так это то, что звучит в явном противоречии с некоторыми другими его доктринами: пацифистскими и антинациональными, с тезисом о демократическом равенстве, который он проповедовал в последние дни своей жизни. Это национальная нота. Он подчеркивает право русского народа на образование, соответствующее его гению, независимо от иностранного духа. Его коренной русизм, в это время еще совершенно не возрожденный, отрицает право высших и официальных классов с их западноевропейским либеральным образованием навязывать массам образование, не соответствующее их действительным потребностям. Здесь он обращается против Петра Великого, который создал эти официальные классы и придал им ориентацию на либерализм и запад. Все просветительские идеи Толстого являются крайне антипет-риническими, антизападными, антипрогрессивными. Он открыто заявляет, что образованный класс не способен дать массам надлежащее образование, полагая, что благосостояние людей зависит от направления цивилизации и прогресса. То, что говорит устами Толстого, то, что управляет его мышлением, - это Москва. Это та склонность к Азии, которая так встревожила Тургенева и ему подобных в произведениях Толстого и которая здесь возведена в педагогический принцип. Его анархизм, его вера в анархический принцип как единственную разумную основу общественной человеческой жизни; его доктрина о том, что абсолютная свобода делает излишней всякую дисциплину, — все это является частью этого, и это и они выражены в предписании Толстого “выпустить всех детей со скамеек” и освободить их от всякого гнетущего чувства долга.

Это “*выпустить всех детей со скамеек*” - живописная и стимулирующая формула — является идеальным символом социальных и политических (или, скорее, его анархических, антиполитичных) взглядов Толстого. Его знаменитое письмо царю Александру III развивает их наиболее кратко. Отец нового царя был убит первого марта 1881 года, и Толстой написал ему, умоляя проявить милосердие к убийцам. Здесь он излагает императору в таких убедительных выражениях, что почти диву даешься, почему они не превалируют, два *политических* средства,

которые до сих пор применялись против нарастающего политического беспорядка: во-первых, сила и террор; и, во-вторых, либерализм, конституция, парламент. Оба они в конце концов показали себя бессильными. Остается, однако, третий способ, который не носит политического характера и который имеет, по крайней мере, то преимущество, что его еще никогда не пробовали. Оно заключается в исполнении божественной воли, невзирая на последствия, без каких-либо осторожных оговорок в политике; просто в любви, прощении, воздаянии за зло добром; в мягкости, в непротивлении злу, в свободе.... Одним словом, Толстой советует царю "выпустить всех детей со скамеек"; он советует анархию — я не использую это слово в уничижительном смысле, но вполне объективно, чтобы указать на определенное социальное и политическое евангелие спасения.

Уже было показано, что азиатский уклон этого великого русского гения представляет собой смесь различных психических элементов: восточной пассивности, религиозного квиетизма и безошибочной склонности к сарматской дикости. Здесь, в этой анархистской теории, она находится в совершенно иной связи: с революционными идеалами Западной Европы, с образовательными и политическими концепциями Руссо и его ученика Песталоцци, в обоих из которых присутствует элемент дикости, возвращение к природе — короче говоря, анархический элемент в другой форме и под другими красками. Итак, вот мы и подошли к общему фактору в воспитании наших двух главных героев — но с некоторым отличием. Что касается образования, Гете отошел от своей приверженности Руссо. Педагогическое руссоведение, проповедуемое и практикуемое его основателем, вызывало у него отвращение. Яростно, даже отчаянно, он отвергал это и анархический индивидуализм революционного воспитания.

Буассере рассказывает, как Гете выразил ему свое огорчение по поводу партитуры Песталоцци и его системы. Для своей первоначальной цели и в своей первоначальной обстановке, где Песталоцци имел в виду только детей народа, бедняков, которые жили в своих изолированных хижинах в Швейцарии и не могли отправить своих детей в школу, это могла бы быть отличная идея. Но она стала самой разрушительной в мире, как только перестала ограничиваться элементарным обучением и перешла к языку, искусству, общей сфере знания и власти, что, конечно, предполагало *предыдущую традицию*.... А потом возникло неповиновение, вызванное этим проклятым видом воспитания: посмотрите на наглость маленьких школьных сорванцов, которые не испытывают благоговейного трепета перед любым незнакомцем, а скорее пугают его. Исчезло всякое уважение, уничтожено все, что делает людей людьми в их отношениях друг с другом. "Кем бы я был," восклицал Гете, "если бы я не был всегда обязан проявлять уважение к другим? И эти люди, в своем безумии и неистовстве, сводят все к понятиям отдельного индивидуума и становятся просто богами самодостаточности! Они думают воспитать нацию, которая выстоит против варварских орд, как только последние овладеют элементарными инструментами понимания, что Песталоцци так легко им дал".

Традиция, почтение — которые "делают людей людьми в их отношениях друг с другом" — соответствие эго внутри благородного и уважаемого сообщества; разве вы не чувствуете близости Педагогической сферы? Позвольте мне на мгновение вспомнить эту мечту, такую мудрую и великолепную, одновременно строгую и беззаботную, в которой можно проследить многое от гуманизма восемнадцатого века, многое от духа *Волшебной флейты*, Зарастро и "движения к добру, держась за руку друга"; и которая в то же время содержит так много нового, смелого и, говоря по-человечески, продвинутого, что ее нельзя назвать менее революционной, чем просветительские идеи Толстого. Только, конечно, анархический привкус совершенно

отсутствует; в то время как его концепция человечности и человеческого достоинства, культуры и цивилизации настолько созвучна торжественной регламентации и грациям, с таким ярко выраженным чувством благоговения перед традициями, символами, тайнами и ритмом, с такой симметричной, почти хореографической сдержанностью в своей свободе, что мне может быть позволено назвать его государственным в лучшем и утонченном смысле, указывая на контраст с толстовским “выпусканьем детей со скамеек”. Однако мальчики и юноши из провинции мечты Гете тоже не сидят, приклеенные к своим скамейкам, по крайней мере, мы их такими не видим. Основа их образования вполне в стиле песталоццо: это земледелие. И их обучение проходит на свежем воздухе, работа и игры постоянно сопровождаются пением. Нам совершенно недвусмысленно сказано, в чем его суть: “Мудрые люди ведут мальчиков к тому, чтобы они сами выясняли, что им подходит; и сокращают окольные пути, на которые человек часто слишком легко сворачивает”. Каждая хорошо выраженная склонность к какому-либо занятию поощряется и культивируется, ибо “правильное знание и практика чего-то одного дает более высокую культуру, чем половинчатое выполнение сотни дел”. Но если образование таким образом адаптировано к личности, оно, таким образом, ни в малейшей степени не индивидуалистично — на самом деле настолько мало, что настаивают на уважении к условиям и рассматривают его как заметную характеристику гения; ибо гений понимает, что искусство называется искусством только потому, что оно не является природой; и легко приспосабливается к соблюдению условностей, полагая, что они представляют собой “соглашение, достигнутое высшими элементами общества, в соответствии с которым существенное и незаменимое рассматривается как лучшее”. Это враждебность по отношению к добровольному, с удвоенной силой; и Голова из всех сил старается определить и интерпретировать это с помощью музыкальной параллели. “Позволил бы ли бы музыкант, - спрашивает он, - ученику совершать дикие атаки на клавиатуре или придумывать интервалы в свое удовольствие? Нет, поразительно то, что ничего не оставлено на усмотрение ученика. Элемент, с которым он должен работать, определен, инструмент, который он должен использовать, вложен в его руку, даже способ, которым он должен им пользоваться, предписан — я имею в виду смену пальцев, чтобы один устранился с пути другого и расчистил путь своему преемнику; пока благодаря этому регламентированному сотрудничеству и только так невозможное, наконец, не станет возможным”. - Я настаиваю, что главы Провинции не случайно проводят параллель из области музыки: разве она не является поистине самым энергичным символом этого регламентированного сотрудничества разнообразных элементов, ведущего к цели? а цель, которая является культурно благородной и достойной человечества? В Педагогической сфере песня руководит всеми видами деятельности, все остальное связано с ней и передается через нее. “Самые простые удовольствия, так же как и самые простые задачи, оживляются и впечатляются песней; да, даже наши наставления в области морали и религии передаются таким образом”. Даже элементы знаний, такие как чтение, письмо, счет, происходят от пения, написания заметок и помещения текста под ними, а также от соблюдения основных мер и обозначений - короче говоря, как сельское хозяйство является естественным, так и музыка является духовным элементом образования, “ибо от нее ровные пути расходятся во всех направлениях”.

Здесь на ум приходит еще один великий немец, определивший судьбу Германии: взгляд Лютера на музыку как инструмент воспитания был очень похож на взгляд Гете. “Музыку, - говорит он, - я всегда любил. К этому искусству следует приучать молодежь, потому что из него получаются прекрасные, способные люди. На учителя, который не умеет петь, я и смотреть не буду”. И в

школах, находившихся под его влиянием, пения было почти столько же, сколько в Педагогической провинции, тогда как никто не знал, пели ли они в школе Толстого или нет. Страннику по Педагогической провинции кажется, что никто из ее обитателей ничего не делал по своей воле, но как будто таинственный дух постоянно одушевлял их, ведя к одной-единственной великой цели. Этот дух - дух музыки, культуры, “регулируемого сотрудничества”, благодаря которому в конце концов становится возможным “невозможное”, то есть государство как произведение искусства; это дух, далекий от всякого варварства и враждебный ему; хотелось бы, чтобы ему позволили называть его немецким духом.

Приветствие в трех степенях, значение которого, тройное почтение, держится в секрете от самих мальчиков, потому что таинственность и уважение к таинственному оказывают моральное и цивилизующее влияние; требование скромности и приличий; выстраивание и вытягивание по стойке “смирно” молодого человека перед лицом мира и его благородных товарищеских отношений с себе подобными; повышение его собственной чести через оказываемые им почести; весь этот милитаризм, столь глубоко проникнутый духом и искусством, — как далек он от рационального радикализма толстовского романа. Христианство с его сердцем дикости! В любом случае, возможно ли, что в основных чертах существует замечательное сходство между образовательными концепциями наших двух гениев?

Толстой со всей благочестивой простотой однажды заявил, что мир может обрести спасение, просто прекратив делать то, что не кажется разумным по своей сути: то есть все, что делает сегодня весь наш европейский мир; например, преподавание грамматики мертвых языков. То, что находит выражение, что прорывается наружу в этой полемике против изучения древних языков, - это бунт русского народа против самой гуманистической цивилизации. Раскрывается неклассическое язычество Толстого, его этническое божество, которое, по словам Горького, было не олимпийским, а скорее русским богом, “восседающим на кленовом троне подзолотой липой”. Педагогические сочинения Толстого демонстрируют крайне антигуманистическую, антилитературную, антириторическую концепцию относительной важности различных областей обучения. У него совсем не традиционный европейский взгляд на важность дисциплины чтения и письма; он не испытывает ни малейшего гуманистического страха перед “аналфabetизмом”, а скорее открыто защищает то, что с нашей точки зрения было бы почти равносильно состоянию варварства. “Мы видим людей, - говорит он, - которые обладают всеми знаниями, необходимыми для ведения сельского хозяйства; которые в совершенстве понимают все его аспекты, хотя они не умеют ни читать, ни писать; или выдающихся военачальников, торговцев, бригадиров, надсмотрщиков за машинами, чернорабочих, всех людей, которые получили свое образование от жизни, а не от книг, и накопили большие ресурсы информации и размышлений. С другой стороны, мы видим людей, которые умеют и читать, и писать, но которые не воспользовались этим преимуществом, чтобы научиться чему-то новому”. Когда он останавливается на конфликте между потребностями людей и обучением, навязанным им правящими классами, он имеет в виду тот факт, что начальные школы являются результатом развития высших. Сначала церковная школа, затем высшее образование, затем после этого начальная школа — ложная иерархия, ибо ложно, что начальная школа, вместо того чтобы соответствовать своим собственным потребностям, должна соответствовать — только в меньшем масштабе — требованиям высшего образования. Смысл его слов ясен. Он считает народную школу слишком литературной, слишком подчиненной классическому идеалу образования, недостаточно практичной или жизненной, не руководствующейся принципом подготовки к призванию в жизни. Но мы ошибемся, ожидая от него большей доброты по

отношению к системе или духу высших учебных заведений. Он обвиняет их в том, что они “полностью оторваны от реальной жизни”. Он сравнивает истинное образование, получаемое от самой жизни, с тем, которое предлагается студенту-академику, и обнаруживает, что первое производит людей, способных в своем призвании, второе - просто “так называемых людей с университетским образованием — продвинутых, то есть раздражительных, болезненных либералов”. Он отдает “Латыни и риторике” еще сто лет жизни, не больше, и то только по той причине, что “когда лекарство однажды куплено, его нужно принимать”. Фраза достаточно ясно выдает его отношение к классическому образованию, к традиционной европейской культуре, к гуманизму. В то же время это выдает его отношение к западу и цивилизации, его народную ненависть ко всему, что не принадлежит народу, что является иностранным, что приходит из-за рубежа, что имеет просто культурную ценность — короче говоря, гнев первобытной России против Петра Великого.

Пора нам поискать в Педагогической провинции место, где молодежь занимается изучением древних языков. И, в конце концов, это скорее шок - не найти его. Гете не такой варвар, чтобы презирать изучение языка или групп языков как инструмента культуры. Он с энтузиазмом называет его самым чувствительным в мире и подчеркивает его ценность как агента цивилизации, заставляя своих воображаемых учеников воспринимать его в связи с грубыми задачами конюшенной работы; так что, ухаживая за животными и дрессируя их, они сами не становятся похожими на животных. Но языки здесь современные. Языки разных народов изучаются по очереди, но латинский и греческий, следует отметить, отсутствуют в учебной программе.

Что ж, есть и другие вещи, которые также прямо не упоминаются. Но то, что именно эти предметы должны отсутствовать, в конце концов, довольно поразительно. Был ли Гете гуманистом или нет? Во-первых, его гуманизм всегда был иного и более широкого рода, чем просто филологический. И, во-вторых, отпечаток определенной высокой строгости лежит на всех правилах Педагогической провинции, несмотря на царившую там парнасскую беспечность. Нет сомнений в том, что Гете в свой сознательный педагогический период относился, как ни странно, к гуманистическому, винкельмановскому идеалу образования во многом так же, как Толстой и Ауэрбах относились к музыке: моральная строгость по отношению к сибаритам, дилетантам, бродягам, потягивающим и меняющимся, что он считал опасностью “общечеловеческого” идеала применительно к педагогике. Он считал эту опасность более угрожающей, чем опасность специализации и вытекающих из нее узости и обнищания — ужасов, о которых мы, пришедшие позже, конечно, узнали. Он поддерживает идею профессионального обучения против словесного, исходя из той же антилитературной тенденции, которую мы наблюдали у Толстого; разделяя с ним убеждение, что человеческая культура добивается более значительного прогресса методом ограничения; он достаточно радикален, чтобы использовать *Wanderjahre* в качестве рупора, через который можно кричать “*Narrenpossen* (Чушь и бессмыслица)!” в адрес “общечеловеческого” образовательного идеала и “всех его произведений”. Это очень серьезно. Но сегодня, когда никто больше не может жить на свой доход, разве это не звучит как необычайно дальновидное пророчество, когда он заявляет: “Тому, кто отныне не займется ни искусством, ни ремеслом, придется нелегко”?

Я не делал секрета из своей склонности интерпретировать язычество детей природы преимущественно в этническом смысле. И я очень воодушевлен этим поразительно радикальным и решительным отказом Гете от гуманного и литературного образования. Я почти

осмелился истолковать это грубоватое “*Narrenpossen!*” как бунт германского фольклора против самой гуманистической культуры. У меня есть все основания утверждать, что Гете, подобно Толстому, боролся бы с глупостью предлагать людям размытую стипендию для получения образования — глупостью, с помощью которой поливают чувства и дух людей, унижают и оскорбляют, вместо того чтобы, как принято наивно воображать, возвышать их! Гете, который в “*Wahlverwandtschaften*” тайно продвигает “*weil die Menge gleich verhöhnet*”— реакционную и эзотерическую доктрину: “Воспитывайте мальчиков как слуг, а девочек как матерей, тогда все будет хорошо”: был ли он тем человеком, который выступал за воспитание “продвинутых, то есть раздражительных и болезненных либералов”? И не проявилось ли, возможно, пророческое видение в строгости и ограниченности его образовательных принципов? Неужели его чувство времени, как у русского, ограничило “Латынь и риторику” несколькими сотнями лет жизни? Странные события, происходящие сегодня в нашей Европе, склоняют рассматривать его сентенции в пророческом свете.

Великая революция в России извлекла на свет божий — тот свет, который так хорошо освещает *поверхность* вещей, — западный марксизм, который произвел свое впечатление на страну Толстого. Но это не должно закрывать нам глаза на зрелище большевистской революции как конца эпохи: эпохи Петра Великого, западной, либерализующей, европейской эпохи в истории России, которая теперь, с этой революцией, снова обращена лицом на восток. Царь пал жертвой отнюдь не европейской идеи прогресса. В нем был убит Петр Великий, и его падение открыло его народу путь не в Европу, а домой, в Азию. Но разве и в Западной Европе, именно со времени этого кризиса, пророком которого был Лев Толстой, хотя Москва этого не видит, разве и в Западной Европе не живет чувство, что не только для России, но и для нее, для нас, для всего мира близок конец эпохи: буржуазной, гуманистической, либеральной эпохи, которая родилась в эпоху Возрождения и пришла к власти с Французской революцией, и последние конвульсивные подергивания и проявления жизни которой мы сейчас наблюдаем? Сегодня ставится вопрос, соизмерима ли эта средиземноморская, классическая, гуманистическая традиция с человечеством и, следовательно, ровесница ему, или же это всего лишь интеллектуальное выражение буржуазно-либеральной эпохи, которой суждено исчезнуть с ее уходом.

Европа, похоже, уже ответила на этот вопрос. Антилиберальный подъем не просто очевиден, он осязателен. Это находит политическое выражение в безразличном отворачивании от демократии и парламентского правления, в повороте лицом к диктатуре и террору, совершаемом с нахмуренными бровями. Итальянский фашизм является точной копией русского большевизма; все его архаические жесты и ряженье не могут скрыть его сущностной враждебности ко всему человеческому. И на Пиренейском полуострове, где разрушение либеральной системы было еще более очевидным, чем в Италии, события пошли тем же курсом, даже более решительно; там на некоторое время прочно установилась военная диктатура. Но, действительно, по всей Европе — как следствие войны и признак антилиберальных настроений — воды национализма сильно вздулись. Отдельные народы Европы демонстрируют индюшачью самоуверенность, яростное самообожествление, что разительно контрастирует с бедностью и упадком сил на континенте в целом.

Духовные судьбы Франции действительно замечательны и имеют непосредственное значение для нас, немцев. В первые годы после войны ни одна страна не казалась более убежденной в буржуазно-классической традиции. Франция казалась единственной по-настоящему

консервативной страной во всей Европе. Далекий от мысли о войне как о новой революции, он был склонен вместо этого, после победы и на основе победы, видеть в ней не что иное, как подтверждение и завершение старого, буржуазного порядка 1789 года. На такие вопросы, как тот, который я поднял выше, Франция отвечала со спокойной иронией. Если Германия, по ее словам, хочет видеть апокалиптические сны, пусть она делает это во что бы то ни стало; что касается ее самой, то она чувствовала себя очень комфортно в своей классической традиции. Однажды во время международного обмена идеями я попытался выразить некоторые из этих вопросов; и я помню, как сотрудник французского официального газетного органа ответил мне, что Франция всегда была и останется *солидарной рационалистической и классической организацией*.

Но это был голос официальной, буржуазной, консервативной Франции, а не другой Франции, более возвышенной, молодой, интеллектуальной, тайно стремящейся вперед. Конечно, эта новая Франция начинает видеть “апокалиптические сны”; в последнее время появилось много оснований сомневаться в том, что она чувствует себя так же дома, как привыкла в своих традициях. То, что мсье Пуанкаре, у которого нет для этого лучшего названия, знает и ненавидит как “коммунизм”, есть не что иное, как происходящий там процесс подрыва его буржуазной, классической, старореволюционной Франции; распад латинской концепции цивилизации под действием духовных ферментов, которые просочились извне и делают свое дело в крови молодежи - новая, антибуржуазная, духовная и пролетарская революция; и мы в Германии думаем, что у нас есть основания надеяться, что, если произойдут атмосферные изменения, мы тоже сможем получить новую революцию. еще немного воздуха для дыхания. Ибо во Франции интересы национализма и гуманистической культуры совпадают, поскольку оба основаны на убеждении в абсолютном превосходстве латинской цивилизации и ее миссии мирового господства как постоянной заботы человечества. Принимая во внимание, что дух европейской солидарности и определенную готовность, пусть и условную, прийти к соглашению с Германией, скорее всего, можно найти на стороне “коммунистической” новореволюционной Франции, которая уже не так сильна в силу своей культурной латиноамериканскости.

Позиция Германии по отношению к этим явлениям к западу от нее является сложной. Для нас, немцев, и для всего мира в целом очень важно, чтобы она ясно увидела это и осознала таким, какое оно есть. Ибо и в Германии существуют два лагеря, гуманистический и “коммунистический”; из чего следует, что два народа могут вести себя одинаково, с культурной точки зрения, и достигать совершенно разных результатов, и что существуют обстоятельства, при которых следование одной и той же духовной тенденции может быть наихудшим из возможных методов достижения политическогосближения.

Я не собираюсь останавливаться ни на немецком фашизме, ни на обстоятельствах, вполне понятных обстоятельствах его возникновения. Достаточно сказать, что это расовая религия, испытывающая антипатию не только к международному иудаизму, но и, совершенно определенно, к христианству как к гуманному влиянию; и ее священники не ведут себя более дружелюбно по отношению к гуманизму нашей классической литературы. Это языческая народная религия, культ Вотана: быть завистливым — и я имею в виду быть завистливым — романтическое варварство. Она последовательна только в культурной и образовательной сфере, где стремится остановить поток классического образования в пользу примитивного немецкого наследия. И оно не видит или не хочет видеть, какой неприятный привкус это придает антилатинизму современной Франции и насколько сильно это играет на руку месье

Пуанкаре, ненавистнику коммунистов. Исповедовать язычество в Германии сегодня, поклоняться Одину и устраивать праздники солнцестояния, вести себя как народ-варвар - значит доказывать правоту тех французских патриотов, которые хотели бы воздвигнуть на Рейне бруствер западной цивилизации; глупо компрометировать позицию тех французов, которые не делают таких тонких различий между латиноамериканством и варварством, и которые заинтересованы в мире, взаимопонимании, компромиссе и “джентльменском соглашении” с Германией.

Это то, что я имел в виду, когда сказал, что следовать одной и той же духовной тенденции может быть самым ошибочным из всех возможных способов для двух наций прийти к *сближению*. Сейчас не время для Германии совершать антигуманистические жесты; подражать педагогическому большевизму Толстого; характеризовать как этническую дикость упрек, который Гете высказал гедонизму общего гуманистического идеала в образовании. Нет, напротив, для нас настало время сделать весь возможный упор на наше великое человеческое наследие и развивать его всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами — не только ради него самого, но и для того, чтобы явно опровергнуть притязания латинской цивилизации. И, в частности, наш социализм, который слишком долго позволял своей духовной жизни томиться на отмени грубого экономического материализма, не имеет большей потребности, чем найти доступ к той более возвышенной Германии, которая всегда стремилась своим духом к земле греков. Сегодня, с политической точки зрения, это наша действительно национальная партия; но она по—настоящему не достигнет высот своей национальной задачи до тех пор, пока — если мне будет позволена экстравагантность - Карл Маркс не прочтет Фридриха Гельдерлина: завершение, которое, кстати, кажется вполне достижимым.

Решимость прекрасна. Но по-настоящему плодотворным, продуктивным и, следовательно, художественным принцип - это то, что мы называем сдержанностью. В сфере музыки мы любим ее как протяжную ноту, дразнящую меланхолию того, чего еще нет, внутреннее колебание души, которая несет в себе полноту, решимость и гармонию, но какое-то время отрицает это, воздерживается и откладывает, изысканно колеблется еще немного, чтобы окончательно сдаться. В интеллектуальной сфере мы любим его, как иронию: это ирония, которая поглядывает на обеих сторонах, который играет хитро и безответственно—но не без доброжелательства среди противоположностей, и в большой спешке, чтобы принимать чью-либо сторону и принять решение; ориентироваться как это предположить, что в больших вопросах, в вопросах человечества, каждое решение может оказаться преждевременным, что реальная цель, которую нужно достичь, а не решение, но и гармония, согласие. А гармония в вопросе вечных противоречий может заключаться в бесконечности; и все же та игривая сдержанность, называемая иронией, несет ее в себе, как выдержанная нота несет в себе решимость. На предыдущих страницах я попробовал ее, эту “бесконечную” иронию; и мои читатели могут судить, на какой крайности ей больше нравилось играть, на какую сторону вечного противоречия она нацеливалась острее — и сделать соответствующие выводы; только не слишком далеко идущие!

Ирония - это пафос середины ... это и мораль, и этос. Я сказал, что в целом для немцев не характерно торопиться с решением аристократической проблемы — если я позволю себе подытожить в этой фразе весь комплекс противоположных ценностей, рассматриваемых в

настоящем эссе. Мы - люди середины, мировая буржуазия; в нашем географическом положении и в наших нравах есть соответствие. Мне сказали, что на иврите слова, обозначающие знание и проницательность, имеют ту же основу, что и слово "между".

Этот немецкий писатель, который наиболее остро размышлял над проблемой аристократии, проявил, с филологической точки зрения, большую смелость, когда изобрел производное от названия немецкого народа: от *Tiusche-Volk*; то есть, *Täusche-Volk*. Но, несмотря на все это, идея полна энтузиазма. Народ, оседающий в центре буржуазного мира, обязательно должен быть *täuschende*, неуловимым народом: расой, которая практикует хитрую и ироничную сдержанность по отношению к обеим сторонам, которая легко переходит от крайности к крайности с ни к чему не обязывающей доброжелательностью; с моралью, нет, с простотой этого их неуловимого "промежуточности", с их верой в знания и проницательность, в космополитическую культуру.

Плодотворная трудность середины, ты - свобода и сдержанность в одном лице! Пусть они скажут нам, как они уже говорили нам, что эта наша своевольная политика на практике приносит нам горе. Но эта практика сомнительна, а эта катастрофа - тем более. Более чем вероятно, что это постигло нас для нашего же блага; более чем вероятно, что мы стремились осуществить это более глубоко, чем человек когда-либо стремится достичь своего счастья. Опять же, смирение перед лицом неудачи не более благородно, чем смирение перед лицом успеха; и ничто, кроме пораженчества, не может поколебать нашу веру в правильность и святость нашего духовного мировоззрения, цель которого оправдана не стремлением к свободе или иронической сдержанностью, а окончательным синтезом и гармонией, чистой идеей самого человека.

Этот взаимный характер сентиментального стремления — сынов духа к природе, сынов природы к духу (ибо, как мы обнаружили, сентиментален не только дух) — утверждает высшее единство как цель человечества; которое она, поистине знаменосец всех устремлений, наделяет своим собственным именем, *humanitas*. Этот инстинкт самосохранения, каким бы сдержанным он ни был, ощущаемый немецким народом в его центральном положении мировой буржуазии, является подлинным национализмом. Ибо именно так мы называем стремление людей к свободе, боль, которую они причиняют самим себе, их стремление к самопознанию и самореализации. Точно так же художник преданно убежден, что его единственная мысль - вырвать свою собственную работу и свою собственную мечту из каменной глыбы; и все же в какой-то торжественный и волнующий час он может узнать, что дух, овладевший им, имел более чистый источник, что из камня, который он вырезал, возникает более возвышенный образ, чем он предполагал.

Народ и человечество. Это был провидец с востока, один из тех, кто, подобно Гете, Ницше и Уитмену, долго всматривался в медленно поднимающийся рассвет нового благочестия — это был Дмитрий Мережковский, который сказал, что животное содержит в себе человека-зверя и бога-зверя. Сущность бога-зверя пока еще с трудом постигается человеком, хотя только союз бога-зверя со зверочеловеком когда-нибудь приведет к искуплению человеческой расы. Это "когда-нибудь", эта идея искупления, которая больше не является христианской, но и не языческой, несет в себе решение проблемы аристократии, а также оправдывает, да, освящает всякую ироническую сдержанность по поводу высших ценностей.

Мы с некоторой уверенностью относились к великим натурам, великим творцам, детям Божиим, в которых был силен бог-зверь, а также их самоощущение, их тяга к покою, к женщине, к народу; мы наслаждались остроумием тех мировых духов, которые умили и очеловечили свой исповедуемый эгоизм напряжением дидактического импульса. Более нерешительно мы вторглись в богочеловеческую сферу этих других, в их эмоциональные противоположности, в людей дела, сынов духа, святых и больных. Правдивое высказывание этого русского о том, что сущность бога-зверя еще едва ли постигнута человеком, могло бы укрепить нашу веру в ироничную доктрину о том, что больше благодати среди тех, кто в глубине души “не может любить никого, кроме самих себя”. Но мы хорошо знаем, что невозможно решить вопрос о том, какой из этих двух возвышенных типов призван внести больший и лучший вклад в высоко ценимую идею совершенного человечества.

1922

II

ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ И БОЛЬШАЯ КОАЛИЦИЯ

ФРИДРИХ ВЕЛИКИЙ И ВЕЛИКАЯ КОАЛИЦИЯ Аннотация для журнала "Час "

Ну, с чего мне начать? Писатель—историк - и в данном случае также исторический эссеист — всегда подвержен искушению, которому Вагнер так великолепно поддался, когда, не имея в виду ничего, кроме описания падения своего героя, он обнаружил, что педантичный энтузиазм увлекает его все глубже и глубже в свою народную сказку и побуждает включать все большую и большую область его биографии, пока, наконец, он не наткнулся на первые начала и истоки всех вещей; и там, на самом низком "Е" прелюдии к прелюдии, он торжественно и почти беззвучно приступил к. Но и пространство, и время энергично протестуют против того, чтобы я следовал примеру Вагнера в этом очерке истоков войны, повторение — или продолжение — которой мы наблюдаем сегодня. Лучше позвольте мне быть строгим к самому себе; и поскольку я должен с чего-то начать, позвольте мне начать с глубокого недоверия, глубоко укоренившегося и, если быть совсем справедливым, довольно обоснованного недоверия, которое весь мир испытывает к Фридриху II Прусскому.

Подумайте: вот молодой человек с мальчишескими чертами лица, изящно сложенный, хотя и несколько полноватый, “милейшее маленькое создание в королевстве”, - сказал о нем незнакомец; румяный, круглолицый, с большими, близорукими, сверкающими голубыми глазами и носом, который составлял прямую линию со лбом и имел наивный маленький розовый кончик. И этот приятный молодой человек - наследный принц с прекрасно известным прошлым, которое было несколько рассеянным и поочередно вызывающим тревогу; к тому же

он еще *ибблиотекарь*, дерзкий молодой философ и литератор, автор в высшей степени гуманистического *Антимачиавелли*. Он совершенно невоенный, насколько можно судить, гражданский из гражданских, даже женоподобный; оплачивает счета и всем сердцем привязан к помпезности и тщеславию. И теперь этот молодой человек становится королем, доказав, что он настолько лишен чувства чести, что его не спровоцировали никакие побои дубинками или сворачивание шеи со стороны его грозного папаши, чтобы тот пустил ему пулю в лоб или даже отрекся от престола в пользу своего брата. И как король ведет себя так, что никто не знает, что и думать. День, когда он взошел на трон, с тех пор навсегда остался под названием “*Журнал простофиль*”. Почти все получилось вопреки ожиданиям. Те, кто трепетал перед местью нового хозяина, не были наказаны, в то время как те, кто мечтал, что их день настал, оказались разочарованными. Поэты и охотники за приданым, которые толпились вокруг трона и не могли хохотать достаточно громко или долго, заметно втянули свои рожки; а весельчак из Райнсберга, не знавший ничего лучшего, как уверенно играть в тональности прежних дней, удостоился сверкающего голубого взгляда и резких слов: “*Месье, представьте, что вы король.*” Другими словами, шутка разыграна. Этой точности та сцена у Шекспира, возможно, лучшая во всем его творчестве, где кто-то с таким же выражением лица говорит кому-то другому: “Я не знаю тебя, старик”.

Некоторые поступки, которые молодежь совершает в самые первые дни своего прихода к власти, имеют литературный *габитус*, довольно своевольны и самоуверенны. Он отменяет пытки — тем лучше для воров! Он заявляет, что газетам не нужно бояться быть немного забавными, они не будут подвергнуты судебному преследованию; и отменяет цензуру (и откладывает ее на год позже). Он провозглашает религиозную терпимость — это, конечно, его широко обсуждаемое просвещение. Но что стало с этой мечтой о Парнасе, с этим двором муз, где должны царить мода и остроумие, а все быть беспечными, чувственными и галантными? Этого вообще нигде нет. Новый лорд оказался, из всех вещей в мире, строгим экономистом. Никакого повышения зарплаты чиновникам. Никакого снижения высоких тарифов, как бы сильно определенные люди ни рассчитывали на послабления. Канцелярии королевства уведомлены о том, что финансовая система его дорогого покойного Величества останется строго действующей. Министр финансов Боден, столь ненавистный скряга, остается на своем посту. Не существует такого понятия, как доверие, или легкость на подъем, или *невмешательство*. За каждым наблюдают, как никогда раньше. И барон фон Пелниц действительно сказал со вздохом: “Я бы отдал сотню пистолей, чтобы вернуть старика обратно!”

Значит, никаких революционных изменений в системе. Никакого ослабления бразд правления, никаких новых лиц в министерстве. Но одно, по крайней мере, наверняка изменится: это гражданский из гражданских, который правит, он выступает за литературу и шелковые халаты и за определенный конец потсдамскому милитаризму. Наверняка жезл капрала вышел из моды! Что ж, именно здесь всех ждет самый большой сюрприз. Вялый и довольно чувственный молодой философ предстает как страстный солдат: у него и в мыслях нет ослаблять военную базу государства. Ослабить ее? Он усиливает армию пятнадцатью батальонами, пятью эскадронами гусар (введенными по австрийскому образцу) и эскадронной *корпусной гвардии*, доводя ее численность примерно до девяноста тысяч человек. Форма, в которой его когда-то проклинали и над которым насмехались, больше никогда не снимается. Его консерватизм распространяется на сохранение всех существующих воинских званий. “Организация армии - это памятник мудрости Его Величества, нашего нежно любимого

отца в управлении государством; в нее, по сути, нельзя вмешиваться”. С некоторыми варварствами в системе рекрутмента покончено: поркакадетов, жестокое обращение с обычным человеком, вызывают неодобрение ради его репутации. Но это все. Что, по-видимому, нуждается в изменении, так это *значение* института, дух, в котором он используется — короче говоря, его политическое значение. И вот тут-то и возникает подозрение.

Армия была чем-то вроде слабости покойного государя, варварской и довольно дорогостоящей причудой, предметом насмешек при всех дворах Европы, где ее никогда не принимали во внимание в масштабах дела. Внезапно это становится “властью государства” — фраза Фредерика в одном из его первых писем в качестве правителя — любопытно практичная концепция, еще раз подтверждаемая тем, как он берется за работу по очищению истеблишмента от причудливых расцветов, которые были причудой покойного короля. С полком великанов, зрелищем, на которое стоит посмотреть, но ни для чего другого оно не годится, покончено, и он в последний раз появляется на церемонии похорон Фридриха Вильгельма. Из сыновней почтительности остался только батальон гвардейских гренадер. “Государственная мощь”. Представители Пруссии при иностранных дворах внезапно начинают говорить на языке, который заставляет усомниться в собственных ушах. На сцену выходит Пруссия; Пруссия безошибочно хочет, чтобы к ней относились как к тому немалому существу, которым она является на самом деле. Ее удивительный молодой король ведет себя так, как будто Пруссия была не столько государством Германской империи, сколько европейским государством. Он дает понять, что не намерен вечно натягивать лук и никогда не выпускать его из рук, как Европа долгое время насмеялась над Пруссией за это.

Но что мы должны сделать из всего этого? Был ли он комиком все это время? Граф Секендорф однажды написал о нем в Вену, когда он еще был кронпринцем: “Его величайший недостаток - это его лицемерие и лживость, которые вынуждают проявлять величайшую осторожность в том, что ему говорят”. Да, это, очевидно, правда. Секендорф продолжает: “Он сказал мне, что он поэт, что может написать сотню строк за час. И еще музыкант, философ-моралист, физик, механик. Кем он никогда не станет, так это государственным деятелем или главнокомандующим”. Если смотреть с этой точки зрения, то кажется, что молодой человек намеренно лукавил и в этом отношении. Ибо последний сюрприз - величайший из всех; впервые он выдает то, чего от него на самом деле следовало ожидать.

Фридрих не пробыл на троне и полугода, когда умер Карл VI; и едва император опустился на землю, как Фридрих, к великому ужасу своих собственных министров, генералов и родственников, а также остального мира, предъявил какие-то претензии на Силезию. По букве закона и в силу торжественных соглашений это требование совершенно необоснованно; или, если хотите, основано на различных актах вероломства и самонадеянности, которые Бранденбургу с незапамятных времен приходилось терпеть от Австрии. В любом случае это требование, которое Фридрих готов отстаивать мечом, если только Мария Терезия не согласится, а этого она сделать никак не может. “Все готово, - пишет он Альгаротти, - мне осталось только привести в действие планы, которые я давно вынашиваю в голове”. Прошло много времени? И все готово? Не сказав ни слова ни единой живой душе? Не выдав ни малейшим знаком, что у него в голове были такие идеи? Что ж, он определенно был лицемерным, замкнутым, одиноким молодым человеком, несмотря на всю веселость в Ремусберге! С другой стороны, Вольтеру он пишет: “Смерть императора расстроила все мои мирные идеи”. Это для того, чтобы Вольтер во Франции не мог предположить, что нападение

было делом длительной подготовки. О, молодой человек, одновременно особенно одинокий и особенно хитрый!

Однако вот оно: Фридрих вторгается в имперские владения — он, маркграф Бранденбургский, которому, как наследственному обер-камергеру, пришлось передать умывальный предкам Марии Терезии. “С тобой все в порядке, с тобой один человек”, — сказал Людовик XV, который, в конце концов, должен был кое-что знать о политических играх. Бравада, совершенно безрассудное начало, говорит вся Европа. И английский посланник в Вене даже тогда придерживается мнения, что Фридриха следует объявить вне закона.

Но бравада это или нет — Австрия в плохой форме, для Фредерика все складывается хорошо. Есть битва при Мольвице, где он терпит поражение и бросается наутек на протяжении десяти миль, в то время как Шверин подходит и выигрывает для него день. Не самый славный день для короля, но, тем не менее, победа. Тогда Бавария жаждет императорской короны, Франция поддерживает ее, Австрия находится в тяжелом положении. Вдобавок ко всему идет Хотушиц, где Будденброк бросает австрийцев в горящую деревню; и Мария Терезия, которая предпочла бы потерять целую провинцию Баварии, чем одну деревню Пруссии (она ненавидит этого Фридриха всей силой своей женственности), должна с болью в своей белой груди, со слезами на голубых глазах подписать мир, который гарантирует королю Верхнюю и Нижнюю Силезию и герцогство Грац. Они у него есть, они принадлежат ему.

Что еще? Прошло около двух лет, когда Фридрих снова начинает войну — якобы как курфюрст королевства, чтобы оказать помощь находящемуся в тяжелом положении баварскому императору, но на самом деле потому, что Мария Терезия тем временем добилась слишком больших успехов против Франции и Баварии, и Фридрих подозревает, что, когда она покончит с остальными, она развернется и снова отберет у него Силезию: прекрасную, никогда не забываемую Силезию — она раздражается слезами всякий раз, когда слышит это упоминание. И у нее нет могущественных друзей: например, английский король Георг II, покоритель французов и союзник императрицы-королевы со времен Вормса, 1734 года. Король Георг написал ей в таких словах: “*Madam, ce qui est bon à prendre, ce qui est bon à rendre*” — письмо попало в руки Фредерика. Англия и Австрия помогали друг другу защищать территории, которыми каждая владела до 1739 года. До 1739 года? Это было, конечно, до того, как Фридрих захватил Силезию. И есть аналогичные договоры, заключенные между Австрией и Саксонией. Австрийские историки призывают небеса в свидетели, что императрица в то время не планировала никакого нападения, но для Фридриха этого было достаточно. Он очень хорошо относился к Франции: с июня у него был двенадцатилетний наступательный союз с Ришелье; он не лишен дипломатических гарантий. За эти два года он увеличил “мощь государства” на восемнадцать тысяч “усов”, как называл их Вольтер; значительно укрепил и перестроил силезские крепости; и в середине лета 44-го он наносит новый удар, даже не объявляя войны; обрушивается на Богемию численностью в восемьдесят тысяч человек, проходит маршем через Саксонию, даже не спросив разрешения курфюрста, идет на Прагу, фактически идет на Вену.

Это тяжелый процесс. Время от времени ситуация выглядит отчаянной. Карл Лотарингский бросается из Эльзаса в Богемию и угрожает силезским соединениям Фридриха; саксонская армия прикрывает короля в тылу — происходит неловкое отступление из-за нескольких глупых решений со стороны Фридриха, по его собственному более позднему признанию — он многому научился у них. К следующему году его командирские качества заметно улучшились! Соор

следует за Гогенфридбергом; после того, как он уничтожил саксов при Кессельсдорфе, граф Гаррах приезжает в качестве посредника в Дрезден, и Мария Терезия подтверждает уступку Силезии, в то время как Фридрих признает ее мужа, доблестного Франциска Лотарингского, германским императором. Почему бы и нет?—Карл VII мертв, и Фридрих все равно никогда не придавал ему большого значения.

Но почему он заключает мир с Габсбургом? Потому что он видит, что удача была на стороне Франции в Нидерландах, и поэтому в настоящее время перевес императрицы-королевы не очень велик. Кроме того, к огромному недовольству Франции, он заключает мир и с Англией, уходит со своей добычей — Силезией — и следующие три года мудро сопротивляется — так долго продолжается Война Прагматической санкции между Францией и Австрией, поддерживаемой морскими державами, — любым попыткам вывести его из нейтралитета. Мир в Экс-ла-Шапель, который окончательно положил конец борьбе в пользу Марии Терезии, недвусмысленно гарантирует ему силезское “приобретение”.

Но одно мы должны сказать: если силезское “приобретение” считать грабежом, частью собственности, отнятой вопреки правосудию, — а люди именно так и считали, и так оно и было, — то они не должны были торжественно гарантировать это грабителю. То, что они так гарантировали это, означало, что они предоставили времени исправить ошибку (поскольку время может это сделать) и что Европа и Мария Терезия с тех пор отказались от всех махинаций и заговоров против грабителя и приняли *свершившийся факт*. Но этого они не сделали, в частности, Мария Терезия этого не сделала. Она не оставляла надежды, что ей все же удастся вернуть Силезию, несмотря на Эксский мир; и это черная метка на имени этой великолепной, простой, благородной женщины, которая в остальном так заслуживала всего того интереса и сочувствия, которые она получала от Европы. Но почему так получилось, что Европа - или ее дворы и правительства — никогда не чувствовали себя спокойно из-за этого короля? Из-за большого недоверия, с которого началась наша история, и за которое король отплатил с лихвой. Недоверие коренилось в его фундаментально странном, загадочном характере. Европа знала, что это опасно; и его более поздние проявления заставляли ее постоянно затаивать дыхание.

Дело в том, что из всех держав, вступивших в войну из-за Прагматической Санкции, только Фридрих чего-то добился, даже очень многого. То, что он сохранил за собой великолепную провинцию, было наименьшим из его достижений. Но эта нищая молодая Пруссия с ее бедными двумя миллионами душ считала себя равной Австрии или против нее; она втиснулась в число великих держав Европы и заявляла, что выступает на всех их советах как одна из них; она заставила их считаться с Пруссией как с политическим фактором, не просто весомым, но даже решающим, поскольку Фридриху удалось представить себя в народном воображении балансиrom европейского равновесия, по крайней мере, в том, что касалось отношений между Францией и Австрией. Европе очень тяжело было вынужденной изменить свое отношение подобным образом. На это у нее уходят столетия. Она борется, она ругает, она глумится; она отказывает новому фактору в каком-либо политическом, культурном, прежде всего в каком-либо моральном оправдании, она не может излить достаточно злобы и яда против новичка, она не видит ничего, кроме скорой гибели, ожидающей его; и, если ее пророчества, похоже, не сбудутся с заметной поспешностью, тогда все устоявшееся общество государств готово вонзить топор своих частных ссор из-за престижа и интересов, какими бы жизненно важными они ни были, чтобы обрушиться на убийцу-джою и сокрушить его. Она сделает это или попытается

сделать дважды, если понадобится, в течение ста пятидесяти лет. Простые люди, такие как друг Фредерика, философ Джордан, даже во время второй силезской войны никогда не могли понять, почему “сообщения в газетах никогда не были благоприятными для нас”. Да, это было странно. Но газетные репортажи не могли помешать Фредерику сохранить Силезию. И теперь, по крайней мере, когда гарантия в безопасности у него в кармане, он наверняка сыт и удовлетворен? Помимо мер, принятых против него, был ли он, со своей стороны, здоров и миролюбиво настроен?

У него не создалось впечатления, что он намеревался немедленно разоружиться. После заключения Дрезденского мира он сохранил свою армию численностью в сто сорок тысяч человек; кроме того, имелись “дополнительные войска”, численность которых он удвоил, так что в его распоряжении был обученный резерв в шестнадцать тысяч человек. Таким образом, получилось сто пятьдесят шесть тысяч “усов” - абсурдная цифра для страны с таким относительным положением и экономическими ресурсами, как Пруссия. У Людовика XV было не так уж много солдат, и уж точно не так много чертовски хороших. Ибо армия Фридриха, несмотря на всю свою численность, продвигалась вперед так, что об этом заговорила вся Европа.

Он предъявлял требования и настаивал на эффективности в отношении мобильности и тактической точности, неслыханной в его время. Иностранная военная знать, которой время от времени разрешалось смотреть на происходящее, была поражена — и все равно, им не удалось увидеть все по-настоящему. Эти массы войск развернулись, они разработали знаменитый косой боевой порядок, изобретенный королем, в восьми различных построениях, с математической точностью, которая заставила бы старого принца Евгения, который когда-то покровительствовал принцу в Филиппсбурге, усомниться в своих собственных глазах. И повсюду царил практический дух, который был полной противоположностью дилетантскому энтузиазму. Здесь не было великолепных лагерей и показательных маневров, как в других странах, где огромные скопления войск собирались вместе в мирное время и без вреда для себя выполняли свои упражнения. Фридрих ежегодно проводил крупномасштабные маневры в Шпандау или Потсдаме; и эти форсированные продвижения по пересеченной местности, эти действия на равнине, эти переправы через реки и атаки, эти разнообразные и искренние атаки на проблему того, как превосходящий враг — казалось, считаешься с превосходящим врагом, возможно, с комбинацией врагов?— могут быть нанесены удары с фланга и уничтожены; все они были испытаниями войны, ожесточенными всерьез и совершенно неприкрытыми, проводимыми с единственной целью - визуализировать реальный конфликт и ознакомить офицеров и войска с деталями кровавого дела. И агрессивный дух, стремление к быстрым и энергичным действиям всеми возможными способами внедрялось в кровь этих войск — вопреки моде того времени и гранича с нецивилизованностью. Фридрих испытывал лишь презрение к утонченным методам ведения войны, применявшимся в его веке, — к тем “превосходным генералам, которые провели целые кампании в различных маневрах, не имея возможности взять верх над другим, — что снискало им высокую оценку Генерального штаба”. Он презирал также укрепленную позицию, к которой относились с таким большим уважением. Сражайтесь любой ценой! Заставьте врага сражаться; сражения должны быть решающими, для этого они и существуют. Атакуйте, атакуйте! *Attaquez donc toujours!* Штыковая атака - его страсть, он был первым, кто регламентировал детали ее выполнения. “Не стреляйте больше, чем нужно, и, главное, не слишком рано! На расстоянии двадцати, даже десяти шагов от врага, дайте хороший хлесткий залп у него под носом, а затем ткните его штыком в ребра.” Затем

кавалерия: “Настоящим король запрещает всем офицерам кавалерии, под страхом позора и кассации, когда-либо позволять нападать на себя в каких-либо действиях; ибо пруссаки всегда должны атаковать врага”. В ручном галопе? Нет, во весь опор. “Затем, в сомкнутом строю, они должны прищипорить своих лошадей во всю мощь своих легких, когда они атакуют”. “В верхнюю часть легких”. “У них под носом”. “Дай им по ребрам”. Все это звучит так дико, так безрассудно, так экстремально, так необузданно, так жестоко! Мужчина, должно быть, настроен на безжалостное наступление и не думает ни о чем другом. Возможно ли кому-нибудь доверять ему?

Увы, нет, вероятно, нет. Вероятно, это было невозможно, даже если бы кто-то захотел - опять же, совершенно независимо от любых мер, принятых против него! Этот король был слишком скрытен и лицемерил; сдержан даже со своими приближенными, или, скорее, у него не было близких людей. Никогда не быть общительным, никогда не позволять никому угадывать его мысли - таков был его первый принцип как правителя. Однажды он сам совершенно откровенно заявил об этом: “Если бы я думал, - сказал он, - что моя рубашка или кожа знают что-либо о моих намерениях, я бы сорвал их”. Дикий способ выразить это — и очень красноречивый для его крайнего и упрямого намерения держать язык за зубами. Чего можно было добиться дипломатическими методами при таком короле? Иностранные джентльмены находили его непостижимым. Его умеренность, его нейтралитет, его добрые намерения — никто в них не верил, и он знал, что это не так. Он сказал: “В Вене меня принимают за непримиримого врага австрийского дома; в Лондоне меня считают гораздо более беспокойным, честолубивым, богатым, чем я есть на самом деле. Бестучев [российский имперский канцлер] считает, что я замышляю зло; в Версале говорят, что я забываю о своих интересах. Они все ошибаются. Но что вызывает беспокойство, так это то, что эти ошибочные представления могут иметь пагубные последствия. Что нужно сделать, так это предвидеть [?] эти последствия и избавить Европу от ее предвзятого мнения”. До зачатия? Да ведь это было *пост*зачатие, концепция, сформировавшаяся после двух силезских войн. Опять же, возможно, он говорил совершенно искренне и просто обманывал себя на счет опасности, которую он сам представлял для Европы? Загадка для всех, был ли он, возможно, таковым и для самого себя?

Он вел необычную жизнь — она контрастировала со всеми монархическими привычками того времени. Летом он вставал в три часа. Но три часа - это время ложиться спать, когда Бог дал тебе возможность наслаждаться жизнью! Едва он причесался, как начал править. Хорошо ли он правил? Несомненно, он правил с подозрительностью, своеволием, деспотизмом, который можно было назвать только безграничным и экстравагантным, и который проникал во все, как в самую маленькую, так и в самую большую область, и лишал работу других всякого достоинства. Он так любил работу, что взял ее всю на себя и оставил своим слугам недостаточно; или, скорее, то, что осталось, было надоедливым и мелочным, и даже при этом он шпионил, ругал и унижал их. “*Модная* раса *Cette*” (так, справедливо или ошибочно, он называл все человечество), по его убеждению, начала бы обманывать его и обманывать государство, если бы у него был хоть малейший шанс; и в его полном отсутствии уверенности было, по крайней мере, то хорошее, что его чиновникам приходилось считаться с тем фактом, что король все увидит и изучит, его подданные могли быть уверены, что их жалобы и прошения действительно доходят до него, а не падают под стол. Он никогда ничего не упускал из виду, он причинял себе боль из-за мельчайших деталей.

Да, своевольным и деспотичным он, безусловно, был; вплоть до самого грандиозного и самого мелочного смысла этих слов. Никто не осмеливался путешествовать без его разрешения; выдавая его, король определил сумму дорожных денег с точностью до фартинга: для бюргера столько-то, для юнкера чуть больше. Он внушал благоговейный трепет и изумлял весь мир операциями, в которых было что-то сверхчеловеческое и фантастическое, такими как возведение могучих плотин, чтобы противостоять могуществу моря и вырвать у него полосы суши, которые веками были его добычей. Или он вспахивал болота, превращал трясины в поля, пускал в ход десять тысяч лопат, чтобы проложить каналы через болота Одербруха, — бессердечный к страданиям своих работников, которые все могли бы умереть от болотной лихорадки, если бы их приносили в жертву будущему и его нетерпеливой воле. Если незнакомец хотел занять хорошее место на параде, он должен был написать королю, и король отвечал собственноручно. И все же именно этот король однажды заявил, что он больше не будет сидеть молча и терпеть устаревшие злоупотребления и формальности при отправлении правосудия; он вмешается и сам займется решением проблемы — и сразу же создал общее право страны, великую и смелую реформу, образец разума и беспристрастности, который все остальные страны охотно изучали и которым восхищались.

Армия, администрация, служба дома и за границей. Это было еще не все. Он “вмешивался” и в другие дела, и “перемешиванием” не ограничился. Он был своим собственным министром финансов (упрямо скупым здесь; экстравагантным там, где речь шла о какой—нибудь крупной и, возможно, невыполнимой схеме или чем-то еще), своим собственным министром сельского хозяйства (который просто отказывался верить, потому что так говорили Линней и другие, что картофель - ядовитое растение, и произвольно настаивал на том, чтобы его сажали), своим собственным министром торговли (и как таковой консервативный, идущий по стопам своего отца, с запрещенными графиками, протекционизмом и монополиями, его главная идея заключалась в том, что деньги должны прекратиться в стране), своим собственным министром о заводах и шахтах, о собственном лорде-камергере, и о чем же еще? - ибо когда мужчина живет отдельно от своей жены и встает в три часа ночи, он может многое успеть за день.

Нужен был такой король, человек, который умел работать так, как он умел, чтобы показать полное значение слова “деспотизм”. До него никто не понимал его значения. Но созданный им деспотизм был *нового* вида. Он был просвещенным деспотом, а это значит, что его подданные могли думать и говорить все, что им заблагорассудится, при условии, что он, со своей стороны, мог поступать так, как ему заблагорассудится, — соглашение, которое, следует признать, было полезно обеим сторонам. Религии мало что значили для него, он презирал их все. Преследуемое безбожие нашло убежище и даже официальный статус в его королевстве. Пасквили, сатиры, наветы, направленные против него, нисколько его не трогали. Он не боялся мозгов: его любовь к ним уравнивалась презрением — до тех пор, пока они не были подкреплены какой-либо властью. Услышав, что один из его подданных раскритиковал его, он спросил: “У него сто тысяч человек? Тогда что вы хотите, чтобы я с ним сделал?” Что, конечно, было цинично. И действительно, у него был циничный склад ума, который проявлялся даже в его одежде, которая со временем становилась все грязнее и поношеннее; и в развлечениях, которые он выбирал: в обычных богохульствах на своих званых ужинах, в сухом, злобном удовольствии, которое он получал, подначивая литераторов и философов, которых он находил за едой, “втягивая” их в споры и ссоры друг с другом. Даже его пристрастие к работе - разве в этом тоже не было чего-то циничного, засушливого, бесчеловечного, человеконенавистнического для любого здорового и правильного человеческого чувства? Ибо

здоровое и правильное человеческое чувство понимает — и понимало во времена Фредерика тоже, — что карьера и достижения - это еще не все в жизни; что у жизни есть свои чисто человеческие требования и обязанности по обеспечению счастья, пренебрежение которыми может быть большим грехом, чем небольшая снисходительность к себе и другим в вопросе своей работы; и опять же, согласно здоровому и правильному человеческому чувству, гармоничной личностью нельзя назвать никого, кто не понимает, как удовлетворить справедливые требования обеих сторон жизни. А этот король не знал, он понятия не имел об этих фактах, хотя, конечно, король должен знать их так же хорошо, как и другие люди. Его безумное трудолюбие, его настойчивость в достижении цели были аскетичными и в чем-то ужасными по своей природе. Конечно, он ненавидел монахов, как ненавидел всех религиозных деятелей и духовенство; но он сам был скорее похож на монаха, монаха в синем солдатском мундире и желтом жилете, всегда испачканном нюхательным табаком. А он был циничным старым холостяком, и значительная доля его неприязни и сверхъестественности, несомненно, была связана с его отношениями с женским полом, которые, по сути, вообще не были отношениями и были совершенно непонятны даже его собственному возрасту, каким бы капризным тот ни был в своем отношении к вопросам секса.

Он был, как я уже сказал, довольно рассеянным юношей. Когда ему было пятнадцать лет, он посетил роскошный дрезденский двор, где ему очень понравилось, и по уши влюбился в графиню Орсельскую, дочь и фаворитку Августа II; но король, который был несколько ревнив, предложил ему вместо нее графиню Формеру, прелестную девицу, впервые показав ее в образе живой картины. Соответственно, эта дама стала первой любовницей Фредерика. Впоследствии он заполучил и Орсельскую. Таких историй множество: например, есть одна о фрейлине фон Рич, которую он часто навещал, когда был в Кюстрине, и которая снабжала его свечами и книгами и даже деньгами, которые он, как предполагается, так и не вернул, хотя фрау фон Рич родила ребенка, которого ее муж так и не признал. Затем была дочь регента из Потсдама, которую публично выпороли и отправили в исправительный дом “пожизненно”. А в Руппине и Райнсберге он вдоволь наигрался в разврат; но Секендорф написал принцу Евгению, что “казалось, тело недостаточно окрепло для требований, предъявляемых к нему желаниями, и кронпринц, похоже, ищет в своих расточительствах репутацию галантного человека, вместо того чтобы удовлетворять настоящие греховные наклонности”. Все это могло быть правдой, а могло и нет. Но несомненно, что ни одно из этих дел не имело ничего общего со страстью в каком-либо высшем или глубоком смысле, не больше, чем с подлинным чувством или теплотой сердца. Фредерик, будучи совсем молодым, заявил, что все, чего он хотел от женщин, - это удовольствия, и что, насладившись, он презирал их. Он никогда не был влюблен. Затем появился *мальер*; поговаривают о последующей операции; и с тех пор что-то сломалось в его натуре. Вскоре он перестал разыгрывать из себя сладострастника; женщина сыграла свою короткую и не слишком почетную роль в его жизни.

Женоненавистничество теперь глубоко укоренилось в его натуре. Отныне невозможно представить его в какой-либо нежной ситуации - это показалось бы гротескным. Его брак, конечно, вовсе не был браком; но это не имеет значения, поскольку он был вынужденным. Дело было не только в том, что другой пол оставлял его равнодушным. Он ненавидел это, он изливал на это презрение, он не мог выносить этого нигде рядом с собой. Фрейлины его жены жаловались: “Мы не просим, чтобы король любил нас, но то, что он нас просто терпеть не может — это тяжело”. Жене его друга-ипохондрика д'Аржана в качестве особой милости разрешили жить в Сан-Суси; за исключением этого, дворец был чем-то вроде монастыря. Но монастырь - не

совсем естественное место для жизни. Итальянская танцовщица Барберини какое-то время считалась любовницей короля; но Вольтер по поводу их отношений выразился так: “Я хочу, чтобы твоя любовь была частью того, что ждет тебя на празднике любви.” Так что это тоже вряд ли было обычным делом. Очевидно, что маскулинность Фредерика не привлекала в ортодоксальном смысле женский противоположный полюс. Возможно, долгие годы службы в армии способствовали такому положению вещей и отвратили его интересы от другого пола. Известно много случаев, когда военные были или стали женоненавистниками. Этот мужчина, воспитанный в атмосфере французской женственности, возможно, настолько привык к мужественности лагерей, что в конце концов “не вынес запаха” женщин. И это было в самое французское столетие, век женщины *по преимуществу*, пропитанный ароматом *Ewig-Weibliche*. Его представление о солдате, изначально аскетичное (самый высокопоставленный солдат в его подчинении не смел на поле боя есть ничего, кроме консервов), сделало его настолько антижен-скинни, что мягкая привлекательность любви и брака была совершенно исключена. Ему не нравилось, что его офицеры женятся, он хотел, чтобы они были такими же воинами-одиночками, как он сам; и в своей остроте выразил свое мнение, что его офицеры “должны находить свое счастье в мече, а не в ...” Во всяком случае, они должны найти это в мече. В 1778 году из семидесяти четырех офицеров драгунского полка только один был женат.

Итак, почему все это произошло? Возможно, в основе этого было немало политики. Мы не должны забывать, что самыми могущественными странами Европы в то время правили женщины: императрица Елизавета, императрица-королева Австрии и помпадур. Фредерик презирал и оскорблял их до политической бестактности. Вслух, за столом, перед всеми своими лакеями, он называл их “тремя первыми китами Европы”. Это при том, что он знал, или, скорее, потому, что знал, что ни одно его замечание не ускользало от шпионов иностранных дворов. В любом случае, это уродливое слово, возможно, подходило двоим из них, но уж точно не Марии Терезии; понося эту целомудренную и по-детски возвышенную женщину, он, очевидно, имел в виду только пол. Маленькая мать, Елизавета, с другой стороны, раскрыла себя своей слабостью к крепким напиткам имускулистым военным; но именно эти слабости делали ее могущественной правительницей, и со стороны Фридриха было крайне неблагоразумно делать их темой непристойных стишков, которые, конечно, доходили до ее ушей и делали владычицу России его заклятым и вечным врагом. И почему он не мог заставить себя перекинуться парой дружеских слов с помпадур, после того как она изысканно пошла ему навстречу - и учитывая, что она была фактической правительницей Франции? Она была всего лишь дочерью мясника по фамилии Пуассон, женой трактирщика и сводника, да и сама была сводницей в придачу. Признала и уступила, вот кем она была. Но, во-первых, что хорошего в том, чтобы быть просвещенным деспотом, если ты не можешь смотреть дальше таких мелочей? А во-вторых, она была не просто восхитительна, с этой умной, шаловливой головкой и развевающимся вышитым платьем — его выверенный вырез мудро наполовину скрывал, наполовину открывал прелести, которые всехристианский король умел ценить. Едва ли какой-либо знак выдавал грязь, из которой она вышла и которая оставалась ее стихией. Она знала, как незаметно руководить тайным советом. Фредерик, когда беспричинно оттолкнул ее, целился в женщину, а не в наложницу. “Я ее не знаю”, - сказал он. “*Je ne la connais pas.*” Любой другой на его месте позже пожалел бы об этом. Мария Терезия — основательница комиссии по целомудрию, благочестивая и верная жена — проявила больше самообладания. “*Принцесса и кузина*”, - написала она; “*Мадам моя лучшая подруга*” - звучит скандально, но это нужно было сделать ради Силезии. Что же касается отношения Фридриха к самой императрице-королеве, то оно

ярчайшим образом демонстрирует его бессердечие в том, что касалось пола. Все хронисты и критики, рыцарственные прежде всего, говорят о его поведении как омерзительном.

В коллекции *correrplate* в Берлине есть прекрасный рисунок-портрет императрицы-королевы кисти Мейтенса. Роскошная голова в стиле рококо, величественная и крепкая одновременно, гордая и наивная: чистый лоб с маленькой диадемой над ним, венчающей напудренные волосы, которые локонами ниспадают на царственные плечи. Двойной подбородок, по-детски полный достоинства, ясные глаза, мощный крючковатый нос, здоровый рот, полный, но не грубый. Говорят, что ее голос обладал неотразимым очарованием. Двор и народ боготворили ее. Она правила в страхе Божьем, благочестиво, патриархально, комфортно. Для своего мужа, Франца Лотарингского, известного любителя нижних юбок, она была верной женой, потворствующей всем его недостаткам. Когда он умер, она повернулась к его рыдающей любовнице, принцессе Ауэрсберг, и сказала: “Моя дорогая принцесса, мы оба многое потеряли”. Она была такой же добродушной. Когда ее сын, герцог Тосканский Леопольд, впервые сделал ее бабушкой, она была так вне себя от радости, что в ночной рубашке побежала по коридорам замка в Бургтеатр, где шло представление. Высунувшись с балкона королевской ложи, она крикнула на весь дом: “У Полди ребенок! И, в довершение кульминации, в годовщину моей свадьбы! Разве он не любовь?” Мы слышим ее призыв, мы разделяем восторг ее слушателей. Ей не было еще двадцати четырех лет, когда умер ее отец и передал ей бремя короны. Ее здоровье пошатнулось из-за поражения при Мольвице и последовавшего за ним кризиса, поскольку, вдобавок ко всему прочему, она была беременна. “Ибо все мои владения были полем битвы, ” писала она позже, - и я не знала, где меня можно было бы спокойно уложить в постель”. И все же с каким возвышенным духом, с каким трогательным мужеством она держалась! Все еще слабая после лежания в постели, держа на руках младенца, которого в слезах и тревогах произвела на свет, с короной святого Стефана на голове, она стояла в Прессбурге перед собранием Империи и призывала рыцарство своей Венгрии на защиту ее оскорбленного величества. И магнаты — их можно видеть — в неистовом энтузиазме размахивали своими кривыми саблями и теснились вокруг трона с криком: “Мы умрем за нашего короля, Марию Терезию!” Но Фредерик нисколько не сочувствовал этой величественной слабости; вероятно, бледное материнство его врага только подлило масла в огонь его мужественности и вызвало скорее отвращение, чем почтение. На протяжении всей долгой, бесчеловечной борьбы, прелюдией к которой были две силезские войны, мысль о том, что он имеет дело с женщинами, ни на минуту не покидала его. Это повторяется в бесчисленных его высказываниях того времени; кто знает, не постыдная ли мысль о том, что он потерпит поражение от трех женщин, заставила его напрячься? На благодарственном богослужении после победы при Мольвице он произнес текст из Первого Послания к Тимофею ii. 12: “Но я не позволяю женщине ни учить, ни узурпировать власть над мужчиной, но молчать”. — Мария Терезия, услышав об этом, немало разгневалась. У нее было для него имя, одновременно детское и пророческое; кажется, это показывает, что ее женская интуиция разгадала тайну его характера. Она никогда не называла его иначе, как “плохой человек”. Плохой мужчина. Да, таким он и был, с акцентом как на мужчине, так и на плохом. Тайны секса очень глубоки, они никогда не будут полностью объяснены. Было ли это из-за того, что этот король терпеть не мог женщин, потому что он был таким плохим человеком, или из-за того, что он терпеть не мог женщин? Загадка, которую невозможно разгадать. Но то, что эти две вещи каким—то образом зависели друг от друга - в этом я уверен.

“Плохой человек”: он был таковым для всех, хотя именно Мария Терезия по собственному желанию и от всего сердца дала ему это имя. Вокруг него всегда шептались, плели заговоры — в конце концов, конечно, в целях защиты и в качестве мер предосторожности — и все это было направлено против него; он всегда должен был осознавать это, даже когда не знал ничего конкретного; и он парировал, как мог, в течение десяти лет. Да, мы должны согласиться, что все это время он, дипломатично выражаясь, защищался от своего худшего характера — хотя, действительно, могло сложиться впечатление, что даже такое поведение было продиктовано чистой злобой и стремлением водить честных людей за нос.... Подводя итог, можно сказать, что расстановка великих держав была в то время следующей:

Традиционное трехсотлетнее соперничество между Францией и Австрией было устоявшимся фактором, политической константой, с которой, казалось, придется считаться вечно. Это объединило Францию и Пруссию, и июньский союз 1744 года должен был продлиться еще до 56-го. Но этот союз стал довольно рыхлым и ненадежным после того, как Фридрих отказался — преждевременно, по мнению Франции, — от войны за наследство. Что касается Англии, то ее враждебность по отношению к Франции была, если это возможно, даже более уважительной, чем враждебность этой страны по отношению к Австрии. Франция громадно вырисовывалась на континенте, у Франции был флот, заморские интересы (были споры в Америке, точнее, в Канаде) — короче говоря, вполне достаточно, чтобы заставить Англию зорко следить за ней. И Георг II терпел Фридриха так же мало, как и кто-либо другой. Он тоже, хотя и не был женщиной, был высмеян в эпиграмме. И вот Англия присоединилась к России, где на троне восседал любитель крепких напитков и мускулистых солдат; и сделала это с особым упором на Пруссию; Пруссия все еще рассматривалась как союзница Франции, и в состоянии, в случае войны между последней и англичанами, атаковать Англию в ее континентальной Ахиллесовой пяте — другими словами, в Ганновере.... Позиция саксонской Польши была особенно любопытной, вовлеченной и робкой — при отнюдь не Сильном Августе, или, скорее, при его премьер-министре и главе кабинета графе Брюле, большом транжире, великом мошеннике и интригане, который вскоре разорил страну финансово, а затем и политически. У этого человека было двести пар обуви, восемьсот вышитых ночных рубашек, пятьсот костюмов, сто два наручных часа, восемьсот сорок три табакерки, восемьдесят семь колец, пятьдесят семь флаконов для нюхания, двадцать девять карет и полторы тысячи париков. Но я отвлекся. — Фредерик думал, что может рассчитывать на Швецию, поскольку его сестра Ульрике была там наследной принцессой. Французское влияние также было первостепенным в этой стране, то есть она получала субсидии из Франции.

Интриги, война перьев и заговоры против великой Пруссии начались, так сказать, когда чернила на подписях к Дрезденскому миру еще не высохли. После Австрии, где отчуждение Силезии рассматривалось как совершенно временное, главным источником интриг была Россия; Австрия, конечно, всегда играла роль легкого дипломата, в то время как Россия, всегда неуклюжая, всегда готовая к заговорам, упорно добивалась войны и аннексии Восточной Пруссии. Я упомянул, что руководителем иностранных дел России был Бестучев, имперский канцлер, который по договоренности с австрийскими и английскими агентами позаботился о том, чтобы подпитывать ненависть своей любовницы к королю Пруссии и использовать ресурсы своей полудикой страны на службе Австрии. Теперь между дворами Берлина и Санкт-Петербурга почти не поддерживались отношения. Установилось своего рода скрытое военное положение. Каждую весну войска собирались в прибалтийских провинциях и угрожали перейти границу с Пруссией. Но должна была быть какая-то демонстрация ведения дел по-европейски;

поэтому всевозможные документы составлялись на пергаменте, с секретными пунктами и всем необходимым в порядке вещей.

Дело в том, что еще в 1745 году морские державы и саксонско-польский и венгерский дворы заключили союз - так называемый знаменитый Варшавский альянс. Оно было ратифицировано только весной того же года в Лейпциге и выглядело достаточно безобидно на первый взгляд, но в нем был секретный пункт, Варшавское соглашение, подписанное только монархами Венгрии и Польши, которое определенно было направлено против грабителя Силезии. Едва был подписан Дрезденский мир, как Вена по надлежащим дипломатическим каналам дала понять Дрездену, что она надеется, что Варшавское соглашение все еще в силе. Брюль был бы рад произнести в ответ сердечное "да", но он побоялся этого; начал увиваться и все последующие годы продолжал увиваться, пока не разразилась катастрофа. Саксония вышла невредимой из Дрезденского мира, вопреки ее ожиданиям, поскольку, когда Фридрих сражался в Богемии, она напала на него с тыла. Но он удовлетворился компенсацией — победитель при Сооре и Кессельсдорфе как раз тогда вел себя с большой сдержанностью, если не сказать великодушием. Брюль, однако, ненавидел Фридриха; в то время все политическое имело ярко выраженную личную окраску, и ненависть роскошного и женоподобного министра-президента к аскетичному и трудолюбивому солдату была врожденной и неистребимой, она ничем не уступала в насилии австрийскому бренду. Брюль был бы рад дать ему волю, но существовало внешнее отношение Саксонии к прусским государствам и отвратительное превосходство прусской армии. "Варшавское соглашение", - ответил Брюль. Да, оно существовало, но, с другой стороны, оно не существовало. Оно существовало условно. Она существовала при условии, что не причиняла вреда Саксонии. Она существовала при условии, что к ней присоединилась Россия. Было необходимо, чтобы Россия присоединилась — если она присоединится, то во что бы то ни стало. Это было само собой разумеющимся. "*Parfaitement*", - ответила Австрия и обратилась к России; и Россия, едва дождавшись, когда ее попросят, сразу же оказалась на месте, с неуклюжим и безграничным рвением. В 46—м году между Австрией и Россией был заключен оборонительный союз — разумеется, только оборонительный. В нем содержался секретный пункт о том, что, если король нападет на кого-либо из них, он должен быть признан утратившим таким образом Силезию — любимую, оплакиваемую Силезию, которая становилась все дороже и дороже императрице-королеве, чем больше она видела, чего Фридрих умел из этого извлечь; католическую Силезию, обладание которой еретиком и преступником взывало к небесам. Брюля вежливо пригласили войти ... но Брюль все еще извивался. Нет, без подписи, без официального обязательства, это было слишком опасно. И поскольку они были уверены в его добрых намерениях, они позволили ему снять подпись, во имя Бога. Если кто-то обвиняет Саксонию в том, что она присоединилась к союзу против Фридриха, он лжет. Саксония сохранила свой нейтралитет, Саксония не подписала. Другое дело, что она сделала все возможное вместе с Австрией, чтобы посеять смуту в Санкт-Петербурге. Тем не менее она была нейтральной; она не подписывала.

Оборонительный союз, да будет известно, - это союз, который начинает действовать только тогда, когда та или иная его сторона подвергается нападению со стороны данной другой державы или группы держав. Но в стратегии говорят о наступательной обороне; и, по-видимому, нечто подобное может происходить и в дипломатической сфере; действительно, если бы не примирительное название, иногда было бы очень трудно отличить оборонительный союз от его предосудительной противоположности. В политике, как и в жизни, название по большей части является своего рода *публичной уступкой* и лишь поверхностно отражает тот факт, который оно

представляет. Атака может быть совершенно необходимой; но тогда это вообще не атака, это защита. И если нападение выгодно членам оборонительного союза, что ж, тогда становится практически невозможным провести психологическую черту, за которой *casus foederis* перестает быть непредвиденным обстоятельством, которого все объединились бы, чтобы избежать, и превращается в нечто, чего искренне хотелось бы. Таким образом, это становится вопросом чувствительности, и его следует оставить на усмотрение союзников, когда один из них почувствует себя атакованным; и соответственно, чтобы вызвать *casus справедливости*, необходимо только подтолкнуть вашего противника к нападению — другими словами, заставить его играть роль формального агрессора, что вряд ли очень сложно, а при некоторых обстоятельствах может быть и очень легко. События неизбежно будут складываться таким образом, когда одной из сторон оборонительного союза будет такая держава, как Московское царство, держава, в инстинкте которой к расширению есть что-то стихийное и безответственное, подобное растяжению и аппетиту гиганта; держава, которая, сознавая себя в конечном счете непобедимой, всегда неуклюже рвется в бой. Теперь, что касается этого оборонительного союза между Австрией и Россией, направленного против Пруссии: императрица Мария Терезия неоднократно и торжественно отказывалась от Силезии, и она была слишком богобоязненной женщиной, чтобы даже думать о нарушении Дрезденского, Бреслауского и Экс-ла-Шапельского договоров. Но именно по этой причине ей нужно было найти способ вернуть Силезию, который был бы возможен с моральной точки зрения; и это она обеспечила союзом с Россией. Ибо, если Фридрих нападет, он потеряет свое право на провинцию. Что было теперь для доброй Марии Терезии *casus foederis* — опасность или желательность? Давайте назовем это заманчивой опасностью или тревожащим желанием. Но что Россия понимала под словом “оборонительный”, ясно из того факта, что в 1753 году в государственном совете в Санкт-Петербурге было официально объявлено и положено в основу протокола, что также было бы допустимо напасть на Пруссию в случае, если союзник России нападет на нее первым. Следствие, возможно, довольно алкогольное по происхождению, но оно делает вопрос о том, чем оборонительный союз отличается от другого, кроме названия, в определенной степени законным.

Ну, а Фредерик знал об этих вещах? О да, то одно, то другое доходило до его ушей в течение этих лет, хотя и скорее тонкой струйкой, чем непрерывным потоком. Он должен был собрать их воедино и разобраться в них сам. Система шпионажа как раз тогда была в зените своего расцвета, расцветая гораздо пышнее, чем сегодня; и Фридрих был ее самым большим сторонником, считая чрезвычайно важным содержать шпионов повсюду, во всех важных местах. Он называл их своими “Куджонами” (негодяями) или “Пфаффенами” (парсонами) и никогда не мог иметь их слишком много — тем более что стоили они не очень дорого. Брюль открыл в Дрездене целый офис только для расшифровки прусских депеш; так что мы можем рассматривать это в свете реплики Фридриха о том, что он держал там “Кужона” на свое жалованье, чтобы привлекать его внимание к событиям, важным для короля. Этот знаменитый *филоупо* имени Менцель, бухгалтер по профессии, имел доступ к файлам, содержащим секретные документы правительства Саксонии, и в течение многих лет делал копии дипломатической переписки между Россией и Веной, которую вместе с ответами, присланными извивающимся Брюлем, он пунктуально отправлял в Потсдам. Из этих документов Фридрих в точности узнал о взаимоотношениях Саксонии с Веной и Санкт-Петербургом в начале и ближе к середине пятидесятых годов. Он узнал, как Брюль извивался, чтобы сохранить нейтралитет Саксонии и предать его; как Россию убедили вступить в войну; как они подстрекали ее в ее

неуклюжем энтузиазме довести дело до конца; как богобоязненная императрица принялась за работу, чтобы найти веское, этичное оправдание для действий. Он узнал — если он не знал раньше, — каким может быть оборонительный союз, направленный против него самого; и, предположив, что он, со своей стороны, не был богобоязненным и миролюбиво настроенным, вовсе не склонным почивать на лаврах Гогенфридберга, а, напротив, лелеял всевозможные планы и предательства, — тогда, здесь, в этих самых бумагах, он сам обладал моральной возможностью, которую добрая императрица-королева должна была извлечь из своего наступления. Как вы видите, реальная ситуация была несколько сложной, хотя со стороны Фредерика она была более откровенной, более презрительной, менее вовлеченной, чем в случае с Марией Терезией и человеком, у которого, как сказал Фредерик, было полторы тысячи париков и не было головы.

Я опускаю многочисленные провокации, интриги и кризисы второго сорта, охватившие политический мир в эти мирные годы, не касаясь прямого хода событий. Еще весной 49-го нетерпеливый Бестучев был очень близок к тому, чтобы открыть шахту - из-за антагонизма между Францией и Англией. Герцог Ньюкаслский, в то время глава английского министерства иностранных дел, добивался союза, направленного против Франции, в который должны были войти, помимо морских держав, Россия, Австрия, Саксония и несколько других германских государств — все это очень нравилось Бестучеву, поскольку здесь его манила перспектива вовлечения Швеции и Пруссии во всеобщий конфликт. Он приступил к работе в Швеции, где думал добиться изменения порядка наследования престола и отучить страну от французского и прусского влияния, включив ее в сферу российского контроля. Он надеялся таким образом заставить Пруссию действовать в военном смысле. И когда он потребовал от Англии, Австрии и Саксонии заявления о том, что он может рассчитывать на их поддержку в своих шведских начинаниях, весь мир ожидал немедленной катастрофы. Но Фредерик злонамеренно вытянул свою шею из петли. Он сослался на интересы Франции в интересах Швеции, он мягко предупредил лондонского дядю; и поскольку он придал особое значение своей дипломатии, призвав свои резервы, Англия и Австрия сочли целесообразным отделиться от России. Более того, Дания перешла на сторону прусско-шведско-французской *антанты*; поговаривали даже, что войдет Турция. Короче говоря, возникла враждебная комбинация, Бестучев оказался в изоляции и был вынужден отложить исполнение своих планов до лучших времен.

Но теперь инициатива перешла к австрийскому государственному деятелю с известным в истории именем, который на данном этапе развития событий выступил в полный рост: худощавый и чопорный, в тщательно напудренной прическе, локоны которой были уложены так, чтобы скрыть морщины на лбу; с удлиненным, спокойным, голубоглазым, почти английским лицом и огромным бриллиантовым орденом на бархатном сюртуке. Его звали Кауниц, Венцель Антон граф Кауниц; Мария Терезия, рано распознавшая его великие таланты, позже сделала его принцем. Он был чудаком, каких в восемнадцатом веке было много. Чрезмерно ипохондрический — еще одна особенность, модная в то время, — он ненавидел свежий воздух и никогда не выходил на улицу, так что был бледен, как растение в погребе. В кармане у него был целый небольшой арсенал стоматологических инструментов, которые он доставал после еды — даже когда ужинал вне дома — и начинал ковыряться у себя во рту с помощью множества тряпок, ланцетов и маленьких зеркальцев. До тех пор, пока однажды французский посол не сказал: *“Левонс-ноу, принц ваш сын”*. После этого Кауниц перестал появляться в обществе. Одному богу известно, сколько еще личинок было у него в голове; но как политик он был проницательным, дальновидным, рассудительным и обладал огромным даром придерживаться

однажды сформированного плана. И в голове у него была только одна мысль: Пруссия должна быть повергнута в прах, если прославленный австрийский дом продолжит свое существование. С его точки зрения, это была хорошая и правильная мысль, но сама по себе она не содержала в себе ничего оригинального. Что было оригинальным, самобытным и по-настоящему великолепным, так это метод, который Кауниц, и только Кауниц, разработал для того, чтобы воплотить свою мысль в жизнь.

Кауниц понимал, что для того, чтобы поставить Пруссии мат и прижать ее к стенке, необходимо было не только разрушить франко-прусский союз, но и фактически перетянуть Францию на сторону Австрии. Если гениальность заключается в существенной независимости мышления, то это концепция, достойная такого названия. Во всем мире было невозможно представить, чтобы Франция и Австрия когда-либо шли рука об руку. Скорее огонь и вода смешались бы. Взаимная ревность двух домов наложила свой отпечаток на всю историю Европы - не только со времен великого Ришелье. Но, допуская, что это было так, Кауниц не мог понять, почему так должно быть всегда. “На многое нельзя решиться” — так гласил его девиз - “На многое нельзя решиться, потому что это кажется трудным, многое кажется трудным только потому, что на это не решаются”. Он действовал в соответствии с этим девизом. Если бы Франция решила присоединиться к наступательно-оборонительному союзу в Санкт-Петербурге, она привлекла бы с собой Швецию; Саксония тоже без колебаний выступила бы против Фридриха, как только этим поступком ничем не рисковала; и если бы версальское правительство больше не настраивало немецких князей против австрийского дома, германские государства были бы вполне уверены в своей лояльности. При таком общем понимании все были обречены на победу. Если бы Франция сыграла важную роль в восстановлении Силезии, ей было бы разрешено в качестве награды некоторое расширение во Фландрии. Восточная Пруссия отошла бы к России, Магдебург - к саксонской Польше; если бы Швецию хоть в малейшей степени заботила Померания, она была бы дурой, если бы осталась в стороне. Как бы то ни было, у Швеции не было выбора, она была связана французскими деньгами. Если надежда и ненависть когда-то побудили их всех заключить этот чудовищный союз, то Фридрих был безнадежно и беспомощно окружен, и образовалась коалиция, какой мир никогда прежде не видел: славная коалиция, которую история не могла не окрестить именем Венцеля Антона Кауница.

Эти идеи не за один день выросли в голове их создателя. Как и все хорошее, они имели глубокое начало. Даже по Экс-ла-Шапельскому миру, который Кауниц заключил для Австрии, он предложил Версалию Брабант и Фландрию при условии, что его страна вернет себе Силезию с помощью Франции. Но Франция отказалась. Учитывая ее позицию по отношению к Англии, она сочла прусский союз слишком ценным, чтобы ослаблять его подобными начинаниями. С тех пор Кауниц усердно подпитывал и поощрял недоверие к плохому человеку в Потсдаме при всех дворах Европы. С 1747 по 1748 год он был консулом в Лондоне, где снабжал Георга II перехваченными прусскими депешами и тысячью инсинуаций против своего племянника. Но в 1751 году он приехал в Париж, и там начался золотой век его карьеры интригана.

Он жил во дворце Бурбон как знатный человек, с несколькими женщинами, которых развлекал, но получал очень мало. Однако с двумя важными персонами, монархом и персоной Пуассона, он был в наилучших отношениях; именно он довел свою сеньору в Вене до того, что те письма *принцессы и кузины* были, вероятно, самой тяжелой жертвой, когда-либо принесенной легитимностью на алтарь политики. Кауниц преследовал свои цели с тактом и настойчивостью,

поистине достойными восхищения. Он знал, что в глубине души Самый христианский король, несмотря на все еще действующий союз, испытывал отвращение к Фридриху. Людовик был фанатичным и ленивым; избалованным, потакающим своим желаниям; естественно, его активный, воинственный, свободомыслящий протестантский кузен Бранденбургский был для него оскорблением. Союз существовал, конечно, по государственным соображениям; он был направлен против Англии и угрожал Ганноверу, английскому владению на континенте. Но что касается личных или династических симпатий, то они были равны нулю, для них не было никаких оснований; и, если оставить в стороне политику, дружба между двумя старыми аристократическими домами, такими как Бурбоны и Габсбурги, была более подходящей с человеческой точки зрения, чем та, которая установилась между Версалем и выскочкой из потсдамского сержантского состава. И это существо сочинило непристойные пасквилы против нашей маркизы, и правления любовниц, и священной особы нашего высочайшего и ленивейшего Величества: Кауниц очень умело намекал и время от времени был в состоянии представить немного новых доказательств. Какую дерзость, какую неблагодарность проявил этот король! Какую незапамятную нелояльность! Ибо никогда, кроме как с помощью Франции, он не смог бы заполучить Силезию для себя, и как он проявил свою благодарность? Бросив ее в беде и уползая в лес со своей добычей. Но именно так всегда ведут себя маленькие государства, когда большие ссорятся между собой. Если вдуматься, для чьей пользы Франция и Австрия вцеплялись друг другу в глотки все эти столетия? *Cui bono?*— говоря по-латыни. Добился ли кто-нибудь из них чего-нибудь? Нет, они только ослабили друг друга; в выигрыше оказались малые и средние государства, которым в противном случае пришлось бы делать то, что им было сказано, и которые теперь ловили рыбу в мутных водах. Именно этот прусский захватчик земель победил; благодаря разногласиям между Францией и Австрией он занял положение, для которого природа его не предназначала. Кауниц не был настолько радикален, чтобы утверждать, что взаимопонимание между его собственной страной и Францией мыслимо, возможно, возможно даже необходимо. Просто было забавно представить, как все было бы, если бы такое понимание пришло в пределах возможного. Это было бы похоже на рай, вот и все. Все заботы и неприятности исчезли бы, вы бы пожелали чего-то, и это упало бы вам на колени. Бедная Силезия — не потребовалось бы много времени, чтобы вырвать ее из лап плохого человека. И если бы Франция тоже мечтала — о фламандских мечтах, — будьте уверены, Австрия нашла бы возможность выразить свою благодарность. Что еще? Вероятно, ничего другого — за исключением того, что да, объединенные Франция и Австрия просто смогли бы делать все, что захотят. Укрепленные с обеих сторон, в великолепном равновесии, без поводов для ревности, они удержали бы власть в Европе, и каждому иностранцу пришлось бы преклонить колени перед их единым фронтом. Так было бы, если бы согласие между ними было возможно. Но этого не произошло; к сожалению, совсем не так. Традиция вынуждала их работать друг против друга до тех пор, пока ни один из них ничего не добьется; и так должно быть вечно. Привычки были сильны, дурные привычки были самыми сильными. Сильнее всего остального были предрассудки, и разум должен был склониться перед ними. — Или должен?

Это было нечто вроде того, что Кауниц вкладывал в каждое ухо, которое оставалось неподвижным достаточно долго, чтобы слушать. Он излагал свою теорию при каждом удобном случае, поворачивал ее то с одной, то с другой стороны, показывал в разных ракурсах. Сначала люди смеялись, потом задумались. Это было дерзко, это было забавно — через некоторое время они задумались, не было ли это чем-то большим, чем шутка. Постепенно это стало *dernier cri*, политическим стилем, *très chic* темой разговоров в будуарах и кофейнях. Бывшая Пуассон

была очарована этим — а императрица написала ей такое очаровательное письмо! Но у министерства были веские причины не отказываться от союза с Пруссией; и парадоксы Кауница не смогли бы так скоро принять даже наполовину осязаемую форму, если бы человек, против которого они были направлены, не воспользовался всеми его трудами.

Фридрих, вероятно, почувствовал, что из Версаля начал дуть прохладный ветерок; и позиция Франции казалась ему тем более глупой, что англо-французский конфликт вырисовывался на горизонте большими черными очертаниями. Они, несомненно, подрались бы из-за линии франко-канадской границы; соперничество двух морских держав перерастало в военный конфликт; и поскольку договор Фридриха с Францией никак не мог распространяться на прусские гарантии французских владений в Америке, он чувствовал, что Франция могла бы разумно позаботиться о его дружбе. Чего же хотел Версаль? Если это была сухопутная война, если она хотела напасть на Англию в Ганновере, то, несомненно, помощь Пруссии была важнее, чем этот новый флирт с Веной — шутка, которая вскоре разыграется, когда война с Англией уже разразится. Ибо со времен Людовика XIV место Австрии, да и Голландии тоже, было на стороне Англии в войне между Францией и Англией. А что касается России, то Англия не пожалела своих гиней, когда вознамерилась подкупить московский флот “против общего врага”. И общий враг — Фредерик, возможно, льстил себе мыслью, что он тот самый человек. Англия имела в его лице не совсем комфортного соседа на континенте, и она правильно сделала, что приняла меры предосторожности против нападения пруссии на ее курфюршество Ганновер. Но пока она приводила в действие свою дипломатию, что делала Франция? Франция вообще ничего не сделала, тогда как были по крайней мере три вещи, которые она должна была сделать. Она должна была расшевелить Турцию, чтобы держать в узде две империи. Ей следовало прийти к взаимопониманию с Фридрихом по вопросу о Ганновере. И, наконец, ей следовало заставить Англию прислушаться к голосу разума, напав на Ганновер. Фридрих месяцами ожидал, что герцог Ниверне приедет в Потсдам для переговоров. Но он не приехал. Очевидно, за всем этим стоял Кауниц. Фридрих считал, что правительство в нижней юбке в Версале показало себя жалким легкомысленным и глупым. Англия посылала флот в Америку; она захватывала французские корабли, а король Георг угрожал в парламенте; но Людовик и его бывший Пуассон, казалось, решили успокоиться. Единственным шагом, который предпринял Людовик, было поручение своему министру иностранных дел Руйе сделать следующее предложение прусскому послу: “Напишите своему государю, что он должен помочь нам против Ганновера. Будет много добычи. Казна короля Англии хорошо наполнена. Королю нужно только помочь самому себе”. Это было дерзко. Но это, кстати, показывает, какой репутацией пользовался король Фридрих в Европе и особенно при Версальском дворе. Он прислал ответ, что, если у них есть подобные предложения, им было бы лучше нанять Мандрина в качестве посредника (Мандрин - печально известный грабитель с большой дороги). Он надеялся, что в будущем г-н Руйе будет проводить различие между людьми, с которыми ему приходится иметь дело. Надменный, добродетельный ответ — и такой, который, несомненно, произвел бы хорошее впечатление в Англии.

Фридриху пришлось выбирать между Англией и Францией. Он видел, что последняя колеблется, слаба, ей не хватает уверенности. И он чувствовал, что принц Кауниц подрывает его позиции в Париже. Он отказался от Франции. Он был убежден, что если он нападет на Ганновер, то против него выступят Англия, Австрия и Россия. С другой стороны, если бы он связал свою судьбу с Англией, то, во-первых, французы не пришли бы в Германию, а во-вторых, денежные мешки были бы на его стороне во всех будущих непредвиденных обстоятельствах. Таким образом, было бы достигнуто взаимопонимание с Россией, и кто знает, не удастся ли в будущем освободить

Россию от Австрии и, изолировав таким образом Марию Терезию, лишить ее надежды вернуть Силезию? Вот рассуждения, лежащие в основе лишнего юмора ответа Фредерика М. Rouillé. И Англия это услышала. Могла ли она привлечь на свою сторону опасного соседа Ганновера и таким образом обезопасить свои континентальные коммуникации для ведения морской войны с Францией? Англия предприняла шаги. И вскоре произошло *сближение*. К середине января 1756 года в Вестминстере была подписана конвенция, согласно которой Пруссия и Англия поклялись во взаимном мире и дружбе и, в частности, обязались действовать для предотвращения вторжения какой-либо вооруженной силы в Германию или через нее. Вот и все.

На самом деле это было немного. Англия, конечно, не собиралась ссориться с Россией и Австрией из-за Фридриха. И, со своей стороны, Фридрих, возможно, не верил, что взаимопонимание с Англией обязательно должно означать разрыв с Францией. Но Франция была вне себя. Да, Кауниц был прав. Этот человек был отъявленным негодяем. Он открыто встал на сторону врагов Франции. Но они ему покажут.... Они ему показали. Кауниц тем временем возглавил министерство иностранных дел в Вене и был представлен в Париже графом Штархембергом. Он мог сразу же сообщить о самых отчаянных успехах в своем французском предприятии. Именно в это время наша маркиза показала, насколько хорошо она может председательствовать в настоящем государственном совете. В будуаре ее замка Бабиоле проходили те самые частные переговоры между ней, графом Штархембергом, и аббатом Бернисом, ее протеже, которые первого мая привели к заключению договора об обороне и нейтралитете между Францией и Австрией: Версальского мирного договора, который был ответом на Вестминстерскую конвенцию и который, на самом деле, был настолько хорошо подготовлен, что кто-то назвал это голословным объявлением войны австрийскому канцлеру. В нем говорилось, что Франция и Австрия будут держаться вместе, что в случае необходимости одна из них предоставит двадцать четыре тысячи человек в распоряжение другой; и там также говорилось о всевозможных субсидиях Австрии. Не было оговорено, что Австрия уступит территорию Нидерландов Франции, как только Австрия с помощью Франции вернет себе Силезию; но они постоянно говорили об этом, и маркиза это понимала.

И если бы только Франция была возмущена! Но Россия тоже была возмущена. “Что?” - неужели мы взяли у Англии столько денег только для того, чтобы она покровительствовала этому человеку, который насмехался надо мной по всей Европе из-за нескольких безобидных фантазий? - воскликнула Элизабет. Россия повернулась спиной к Англии. С яростной поспешностью она решила еще раз установить контакт с Францией. В ярости она предложила Австрии простой и откровенный наступательный союз против Пруссии. Они с трудом могли ее удержать. Кауницу, который еще не совсем добился от Франции того, чего хотел, пришлось проповедовать Санкт-Петербургу терпение и советовать соблюдать осторожность, “чтобы отчаявшийся король Пруссии не обрушился на нас преждевременно”.

Итак, Фредерик совершенно ошибся в расчетах — при условии, конечно, что он считал так, как говорят писатели того периода (одним из которых он был). И это при условии, что в глубине души он не знал все это время, что так или иначе однажды ему придется доказать силу своего зарождающегося величия перед всей Европой, и уже много дней был готов сделать это. Сегодня кажется, что верны обе альтернативы: война была у него в крови, но скорее из злобы, чем из миролюбия, он играл в дипломатическую игру по уравниванию сил — просто ради удовольствия водить судьбу за нос. Как бы то ни было, Вестминстерский конвент вызвал невероятный политический переворот; и любой критик того времени мог бы сказать, что этот

королевский государственный деятель был таким растяпой, что ему удалось объединить против себя всех заклятых наследственных врагов Европы. Возникла новая система взаимопонимания: Австрия не стала поддерживать Англию в борьбе против Франции, а Бурбоны и Габсбурги объединили усилия. Россия пренебрегла субсидиями, о которых договаривалась с Англией в прошлом году; обезумев от ярости, она перешла на сторону Франции и Австрии. И вот они объединились, они, три величайшие державы на континенте. А по другую сторону стоял Фредерик; у него был единственный друг, притом не слишком преданный, который скрывал от него, что она больше не дружит с Россией, и который, более того, был по горло занят войной за границей. Однако знаменитый пояс с деньгами будет в его распоряжении, по крайней мере, на данный момент, и если дела у него пойдут не слишком плохо.

Таково было положение; и Фредерику не потребовалось много времени, чтобы понять это. Не напрасно он держал шпионов при каждом дворе. Он знал секреты Бабиоле. Из Гааги приходили намеки на франко-русское *сближение*. “Вы уверены в русских?” он постоянно задавал вопросы Митчеллу, английскому послу. И Митчелл ответил: “Мое правительство в них уверено”. Добавив *вполголоса*, что сам он не так уверен и что совсем недавно курьер сообщил ему, что все дороги до литовской границы забиты марширующими русскими. Шотландец Митчелл был честным человеком, и он очень уважал Фредерика. Чтобы придать уверенности вдвойне, из Дрездена пришло известие о настойчивых призывах России и о том, что она в трудную минуту покидает Англию. Венский посол подробно рассказал о наступательном австро-французском союзе, который еще не был подписан, но постоянно обсуждался; в общем, он заключался в следующем: в тот день, когда Австрия с помощью Франции отвоевала Силезию, она уступила Франции часть Нидерландов.— В целом, планы Кауница, его коалиция и его мечты о разделе были довольно простыми.

В руках Фридриха было очень много; вполне достаточно, чтобы предоставить ему моральную возможность, которую он должен был предоставить доброй Марии Терезии, напав. Нетрудно догадаться о его душевном состоянии — более смелым было бы предположить, что он понимает свои чувства. Горький, гневный, мефистофелевский смех, должно быть, сорвался с его губ при мысли о том, что тамошняя клика так усердно пыталась сохранить свою невиновность, возложить на него ненависть к нападению — на него, который был выше простоты или лицемерия таких четких психологических различий между наступлением и защитой; и который не боялся ни похвалы, ни порицания. И опять же, он чувствовал, что Пруссии в конце концов придется заявить о себе и показать, на что она способна; у него война была в крови, он имел в виду войну, тогда как другие имели в виду, в первую очередь, только дипломатические ухищрения. Проект этого франко-австрийского союза, целью которого было возвращение Силезии, предполагал наступление, предпринятое Фридрихом, — и даже в этом случае он оставался проектом. Весь план Кауница по созданию коалиции для уничтожения Пруссии был, во-первых, не более чем этим, и очень немного из этого было изложено на бумаге. Не существует ни одного документа, из которого можно было бы доказать намерение Марии Терезии напасть на Пруссию; равно как и никаких свидетельств того, что участие России и Саксонии в ее планах было нейтральным или враждебным. Ни один человек, образованный или необразованный, никогда не сможет решить, стали бы эти планы когда-нибудь чем-то большим, чем планы, если бы не это.... И еще одно: современник, который должен был знать, граф Герцберг, который по просьбе короля подготовил доклад о событиях 1756 года и предшествующих, тридцать лет спустя заявил: “Несомненно, фактом является то, что планы раздела территорий Фридриха существовали; но они были лишь предварительными и

предполагали условие, что он предоставит повод для их осуществления; поэтому всегда останется нерешенным, были бы эти планы выполнены или нет”. Если бы не это— Что? Это начал сам Фредерик.

Если обратиться к историкам, чтобы попытаться выяснить, действительно ли ужасная война, начавшаяся таким образом, была наступательной или оборонительной войной со стороны Фридриха, то обнаружится, что историки противоречат сами себе до абсурда. Все те, чья грудь увешана орденами, должны спеть одну песню; по их словам, все направлено против клеветнической гипотезы о давно подготовленной войне с целью нападения и завоевания: поведение короля, его высказывания, публичные и частные, в течение десяти лет мира и последних летних месяцев перед катастрофой. Те, чья грудь не увешана орденами (что, конечно, является лишь следствием, а не причиной взглядов, которых они придерживаются), кто питает неприязнь к гению, считая его несовместимым с добродетелью по природе вещей: они поют другую песню: положительно, говорят они, все, что известно нам о злодее, говорит в пользу интерпретации наступательной войны. Его высказывания, несомненно! В них столько уверток, столько пыли в глазах людей. “Если бы я думал, что моя рубашка или моя кожа знают что-нибудь о моих намерениях ...” Да, мы помним. Разве он не говорил также, что у него нет желания быть похожим на тех принцев, которые прославляются благодаря одной блестящей операции, а затем наслаждаются миром и покоем? Его планы возникли очень давно. Он хотел завоевать Саксонию и Западную Пруссию, вот и все, и он следил за дипломатией других держав, чтобы получить предлог для нападения. — Да, историки - это масса противоречий. Со своей стороны, если меня кто-нибудь спросит, я предпочитаю ничего не говорить. Ибо мнекажется, что когда различные мнения о его жизни и поступках сводят на нет друг друга, остается тишина. То, что Фридрих начал войну, не является доказательством того, что она не была оборонительной; поскольку он был окружен и, вполне возможно, подвергся бы нападению следующей весной. Но хотел ли он войны? Этот вопрос заводит нас в пучину нерешенных проблем, касающихся свободы воли. Вероятно, он довольно рано понял, что ему придется этого захотеть; и после того, как он некоторое время водил судьбу за нос, у него хватило человеческой гордости и человеческой злобы, чтобы захотеть этого добровольно.

Вот что верно: другие, независимо от того, сколько у них было заговоров, начали свои настоящие военные приготовления только тогда, когда Пруссия обратила в уверенность великое и всеобщее недоверие. Еще весной 1756 года Фридрих отправил в Штольп корпус под командованием фельдмаршала Левальда; и далее, якобы для обеспечения безопасности Ганновера, он принял меры по подтягиванию вестфальских войск и усиленному снабжению силезских крепостей. Его собственные офицеры покачали головами. После того, как в середине июня в Восточной Пруссии, а также в Силезии была объявлена “*тревога*”, все отпуска были отменены, резервы привлечены до окончания регулярных маневров. Одна армия к тому времени была полностью мобилизована; она стояла в Дальней Померании, готовая действовать в качестве резерва в Восточной Пруссии. План кампании, составленный королем совместно с генералом фон Винтерфельдом, был давно готов, за исключением деталей. Винтерфельд, что-то вроде начальника генерального штаба, сидел, склонившись над планами маршрутов и списками. Повсюду покупались лошади. Генерал фон Ретцов был полевым интендантом. Были сформированы шеренги, утвержден походный порядок армии в трех крупных дивизиях. Машина работала без сбоев. И Кауниц улыбнулся и сжал губы. “Его величество Пруссии, “ сказал он, - уже совершает вторую большую ошибку в государственной политике. Сначала Вестминстер, а теперь эти приготовления. Хорошо, что мы до сих пор не вооружились, это могло бы все

испортить. Теперь у нас и России есть все провокации в мире, чтобы бросить наши войска к границе". Австрия учредила чрезвычайную комиссию по вооружению; она привела свои полки в боевое состояние и сосредоточила их в Богемии и Моравии.

Десятого июля Фридрих приказал своим генералам прибыть в Потсдам; появился среди них и без лишних церемоний объявил, что война должна начаться. "Это необходимо", - поддержал его Винтерфельд. "Невозможно!" - сказали все остальные и настоятельно посоветовали не делать этого. Это были прусские генералы: Хаудеген, Шверин, Кейт, Ретцов, Шметтау, Фердинанд фон Брауншвейг; но все они самым решительным образом отговаривали от этого. Брат короля не верил своим ушам. "Должны ли мы понимать, - воскликнул принц Вильгельм, - что Ваше величество надеется победить эту подавляющую силу?" Величайшие силы Европы, общественное мнение континента против нас. А справедливость — ах, сир, она не на нашей стороне!" "Желать вырвать победу у превосходящей силы подобным образом - значит навлекать на себя поражение от рук Провидения!" Так кричали принцы Генрих и Фердинанд. Фредерик мучился, насмехался над ними и сказал, что они могли бы остаться дома, если боятся. На что они, естественно, вспылили и сказали, что послушание выше личных мнений.

Во всем мире у него не было ни единой моральной поддержки. Англия не переставала предупреждать его, чтобы он не навлекал на себя неминуемую гибель, против которой она была бы бессильна спасти его. Но когда в середине июля он узнал, что Австрия проводит мобилизацию по всей линии фронта, он поставил в Вене вопрос, который звучал опасно, как ультиматум: была ли мобилизация направлена против него? Вероятно, он имел в виду усилить комбинацию, продемонстрировав бесцеремонное поведение. По его расчетам, если они подерутся в середине лета, то Россия вряд ли выйдет на марш в этом году. Возможно, даже английское золото удержало бы ее на месте или произошла бы смена тронов — ведь Маленькая мать была не в лучшем здравии, ее любовные похождения плохо сказывались на ней. И Франция: она подписала Версальский мирный договор, но нет ничего проще, чем отрицать *casus foederis*, если вы этого не хотите и не можете получить. И королю это показалось невозможным.

Но если Франция и Россия отпадут, устоит ли Австрия против него в одиночку? Фридрих об этом не думал, он на это не надеялся. Но если, сказал он, война действительно зачала ребенка, он был готов сыграть повитуху. Отвратительная фигура! И еще один намек на пол его оппонента.

В Вене они еще не были готовы. Поэтому они задержались со своим ответом на две недели. Затем он пришел. Мария Терезия объяснила, что во время всеобщего кризиса она предприняла шаги для обеспечения безопасности себя и своих союзников, которые не были направлены на то, чтобы причинить кому-либо вред. Кауниц подсказал ей, что сказать — неискренний, отнимающий время вздор. Фредерик продолжал настаивать. Он сообщил, что не может оставаться в неведении о соглашении Австрии с Россией. Если ее Величество не сможет дать ему в хороших выражениях, не прибегая к обычным австрийским уверткам, заверения в том, что она не будет нападать на него в течение следующих двух лет, то ей придется благодарить себя за любые последствия, которые могут последовать за ее молчанием. То, что это требование не допускало никакого обсуждения, было очевидно. Собственный посол Фридриха едва ли нашел в себе мужество передать его. Но одновременно со своим ультиматумом Фридрих быстро мобилизовал сначала Померанию, затем Вестфалию, Силезию, Бранденбург и, наконец,

берлинский гарнизон. Через шесть дней войска были в боевой готовности, и им потребовалось всего несколько дней, чтобы добраться до места встречи. Шверин с тридцатью тысячами человек находился в Силезии. Три колонны, которыми командовал лично король, продвигались к определенной границе.... Все было покрыто глубочайшей тайной; даже командиры дивизий не были проинформированы. Но задержка все равно была.... Каков был ответ Вены? По прошествии полных трех недель она высокомерно ответила: первые шаги к мобилизации были предприняты Пруссией. Кроме того, союз с Россией существовал в течение десятилетия и не носил наступательного характера, из чего следовало, что беспокойство Пруссии было беспочвенным. — Снова Кауниц. Между строк можно было прочесть: “Если ты проглотить это, то ты дурак, и мы отмахнемся от тебя. Если ты этого не сделаешь, то ты преступный нарушитель общественного порядка. Делай свой выбор”. — Фридрих отдал приказ пересечь саксонскую границу.

Саксонская граница! Почему, но Саксония была нейтральной, не так ли? Саксония не играла! — Это было все равно; двадцать девятого августа Фридрих с шестидесятью тысячами усацей вторгся в Саксонию.

Какой шум поднялся в Европе по поводу этого неслыханного нарушения мира, этого посягательства на права наций! Мы понятия не имеем — или, скорее, да, возможно, совсем недавно у нас появилась идея. Но давайте послушаем Фредерика, прежде чем прислушаемся к Европе: по его словам, нарушение им закона было вызвано следующими размышлениями и соображениями. Он должен был быть абсолютно уверен в Саксонии, чтобы она не сражалась не на той стороне, когда у нее будет такая возможность. Все не должно пойти так, как было в 44-м, когда Саксония воткнула ему кинжал в спину. Оккупировав страну и распустив армию или включив ее в свою собственную, он должен был получить надежную базу для своих операций против Богемии. Что касается нейтралитета, то его не было ни в каком истинном смысле этого слова. В глубине души и со всеми своими злонамеренными намерениями Саксония была на стороне коалиции, хотя трусость мешала ей признать свою позицию. Фредерик, нарушив букву закона, нарушив нейтралитет, который был зафиксирован на бумаге, в то время как его собственное предательство таковым не являлось, руководствовался жесточайшей необходимостью. Он должен был взвалить вину на свои плечи, чтобы переложить ее на плечи своих врагов; он должен был завладеть архивами Дрездена, этого гнезда предательства, чтобы иметь возможность доказать всему миру, какой маневр совершила Саксония. Если бы Саксония была мудра, она не стала бы оказывать сопротивления; она позволила бы ему без промедления перебраться через горы. Но позволь ей упорно везти свою шкуру на рынок Австрии, и он раздавит ее раз и навсегда. Когда Шверин отразил вторжение в Силезию, а Фридрих застал их врасплох, появившись в Богемии, тогда, возможно, Мария Терезия передумала бы? Возможно, всего одним ударом он разрубил бы связывающую его паутину, так что оторванные куски безвредно уплыли бы прочь? Конечно, возможен был и противоположный результат: различные комбинации, все еще находящиеся в текучем состоянии вокруг него, могли кристаллизироваться при его прикосновении, точно так же, как ледяная вода в тазу начинает замерзать при встряхивании. Но так или иначе, дело должно быть доведено до конца.

Таким образом, Фредерик. Но Европа была совершенно не против подобных балансов и экспериментов. Европа завизжала в один голос. Слышать ее было потрясающе. У общественности, конечно, не было “Кужонов” на жалованье; она не была уведомлена о предварительных действиях, и в ее глазах поход в Саксонию происходил в разгар глубочайшего

мира и был бесстыдным нарушением международного права, нападением настолько бессмысленным и неспровоцированным, что это совершенно выводило из себя. Обрушиться силой на нейтральную страну, добрую, невинную страну, которая вовсе не ожидала такого варварского наступления и только недавно разместила свою армию на жалкой мирной основе - двадцать две тысячи человек, - чтобы дать Брюлю возможность купить больше париков, карет и флаконов для духов! Это было невыносимо, это разрывало сердце, не могло и не должно быть, чтобы этот жадный до табака сатана попирали каблуками своих высоких сапог всю мораль, всю справедливость, всю человечность, всю эту облагороженную жизнь, все, во что должен верить честный человек. Поэтому Европа завизжала и продолжала визжать; и громче всех визжала Австрия, указывая пальцем на Фридриха и крича снова и снова: “Теперь ты понимаешь, не так ли? Вот ты где!”

И, по правде говоря, Саксония ни в малейшей степени не была настроена на борьбу. Она замышляла заговор, но она ни в малейшей степени не была настроена. Однако она была увлечена всеобщим негодованием, которое утвердило ее в ложной и сентиментальной убежденности в собственной невинности и справедливости своего дела; и она предпочла сыграть роль мученицы за дело Австрии и права наций — выбор, который не мог спасти ее от неминуемой гибели. Было невозможно противостоять мастерскому вступлению прусских войск, осуществленному с предельным порядком и дисциплиной. Оборона поспешно отступила на богемскую границу, и пусть Виттенберг, Торгау, Лейпциг, пусть Дрезден, пусть весь электорат без единого удара попадет в руки Фридриха, во власть Пруссии. Саксонская армия остановилась у Пирны, на укрепленной позиции, и туда прибыл Август, бежавший из Дрездена.

Этот принц, в остальном довольно вялый, теперь проявил поразительное упрямство, подкрепленное моральной поддержкой всей Европы. В конце концов, то, чего требовал от него Фридрих, было довольно непростым делом: это было не больше и не меньше, чем наступательный союз против Австрии и присяга на верность саксонских войск. Другими словами, Саксония должна была связать свою судьбу, к лучшему или к худшему, с судьбой Пруссии; поскольку, как сказал Фридрих, Саксония и Пруссия были незаменимы друг для друга, и им было выгодно держаться вместе. С тех пор мы узнали, что взаимная выгода способствует постоянному союзу не только с Пруссией и Саксонией, но также с Пруссией и Австрией. Но в те дни они еще не продвинулись так далеко, и теория Фредерика в тех обстоятельствах, при которых она была выдвинута, должно быть, звучала поистине сатанински. “Как я должен,” спрашивал Август в многочисленных письмах, - обратить свой меч против принцессы, которая никогда не давала мне никаких оснований для этого? В мои намерения не входит принимать никакого участия в этой войне ... моя честность, которую я сохранял до своего шестидесятилетия, побуждает меня ответить Вашему Величеству, что вы завладели моей территорией без всякого на то основания. Европа будет судить о моем деле и о подлинности планов, которые вы предлагаете мне, в несуществовании которых убеждены все дворы Европы.... Похоже, ваше величество не может обезопасить себя ничем, кроме как уничтожением моей армии либо мечом, либо голодом. Пока не произойдет второе, ему все еще многого недостает; а что касается первого, я надеюсь, что под божественной защитой, а также в постоянстве и верности моих войск я буду в безопасности от окончательного события”. Это были хорошие, трогательные письма, которые написал бедный король Август, движимый сознанием того, что с ним Европа. Не менее трогательно он обращался к своей армии. По его словам, они вместе двинутся на Богемию, что совершенно невозможно, несмотря на силу врага. Он был полон решимости пожертвовать своей жизнью ради этой попытки; она принадлежала

его подданным; они должны были спасти честь своего короля и защищать его до последней капли своей крови.

Лагерь в Пирне был окружен, и вскоре стало ощутимо давление. Но до тех пор, пока голод не вынудил сдаться (поскольку Фридрих не желал проливать кровь, он хотел объединить саксонские войска со своими собственными), было потеряно много драгоценного времени, которым Австрия хорошо воспользовалась. Фридрих остановился в Дрездене, где с помощью заискивающих форм пытался сделать свои драконовские правила более приемлемыми; его целью было завоевать общественное мнение, доказав на основании саксонских архивов необходимость, в которой он находился. Но и здесь он столкнулся с сопротивлением, настолько ожесточенным, что, сломив его, он привлек внимание мира, если это было возможно, еще больше, чем когда-либо. Государственные бумаги находились в замке, на попечении королевы Польши, которая жила там со своими детьми. Фредерика она ненавидела; и она стойко сопротивлялась всем его попыткам завладеть документами. Фредерик, однако, был не из тех, кто брезгует применить силу против дамы. Он отправил к королеве генерала с четкими инструкциями добыть шкатулку, в которой находились документы, при необходимости применив силу. Сцена в апартаментах королевы изображена по-разному. В любом случае, это, должно быть, было крайне унижительно для жены Августа. Она боролась изо всех сил и со всей своей гордостью против передачи бумаг. Нам говорят, что она собственным телом защищала дверь кабинета; в других источниках говорится, что она сидела на сундуке, где они хранились; в других, опять же, что шкатулка стояла в ее постели, и что генерал Фридриха, пав ниц, не колеблясь осквернил и это место. В конце концов королеве пришлось подчиниться, и Фредерик получил документы. Он быстро опубликовал их. Но преимущество публикации перевесило вред, нанесенный этим новым свидетельством его жестокости. Королева созвала иностранных послов, подробно рассказала им о случившемся и заявила, что все правители Европы были оскорблены в ее лице. Ее дочь, которая была дофиной Франции, публично бросилась в ноги Людовику XV и с рыданиями умоляла его отомстить за страдания ее матери — сцена, которая вызвала у всей Европы слезы сочувствия и праведного гнева. Французский посланник в Берлине получил приказ безапелляционно разорвать отношения. Прусскому послу запретили появляться при дворе в Версале. Добавьте ко всему этому, что королева Польши вскоре умерла, убитая, как все говорили, постигшим ее позором. Ибо Фредерик отреагировал на ее заговоры и агитацию, установив за ней пристальное наблюдение, и она не избежала дальнейших оскорблений. Король Пруссии, как нам сообщил граф Вицтум, обращался с королевой не как с особой королевской крови, а как с буфетчицей, заключенной в тюрьму посреди вражеской армии. И это убило ее. Негодованию против Фредерика не было предела.

На самом деле оно было таким глубоким и общим, что менее мужественное сердце, менее сардонический характер, чем у него, могли бы дрогнуть перед ним — да, возможно, даже это сердце иногда дрогнуло. Во Франции, стране, где у него были тесные интеллектуальные связи, его просто считали дикарем; они называли его не иначе как варваром, “чудовищем севера”. В самом деле, он мог бы обыскать весь земной шар в поисках знака сочувствия и понимания и не найти ни одного — ни одного места на земле, где он не сошел бы за врага человечества, хищного зверя, обнажить клыки которого было бы моральным актом и защитой общества. Он должен быть повержен, должен быть навсегда обессилен. У него должна быть отнята не только Силезия; Пруссия должна быть низведена до положения, которое было у нее до Тридцатилетней войны, а ее король снова станет мелким маркизом, бессильным причинить вред. Да, пробил час, когда цивилизованные государства должны искоренить прусский дух и избавить планету от

этой ядовитой поросль. Даже те, кто все еще мог мыслить объективно, были вынуждены признать, что Пруссии ничего не оставалось, как пасть под гнетом и ненавистью, обрушиваемыми на нее миром.

Совершенно независимо от материальных ресурсов, которыми располагала такая ненависть, ненависть сама по себе остается вещью, вызывающей содрогание. Бояться того, что исходит от духа, не позорно; в этом меньше трусости, чем в страхе перед физической силой. Именно на невесомости основаны наилучшие надежды на победу; таким образом, нет ничего слабого или глупого в том, чтобы принимать во внимание невесомость и иррациональность там, где они выступают против вас. Ненависть и отвращение, которые вызывала Пруссия, могли быть такими же необразованными и ошибочными, как и всегда; но вопрос, который должен был быть поднят, заключался в следующем: мыслимо ли или в человеческих силах возможно, чтобы один человек смог противостоять весу столь общего чувства и одержать победу? Требуется больше стойкости духа, чтобы противостоять преобладанию моральных чувств, чем для того, чтобы бросить вызов превосходящему отряду войск. Фредерику пришлось признать самому себе, что в случае его поражения всеобщая радость и всеобщее презрение были бы одинаково безграничны; что он не добился бы справедливости, и не только этого, но и того, что он действительно был неправ. Даже на этом основании ему было крайне необходимо победить. Он не был прав, поскольку право - это соглашение, голос большинства, суждение человечества. Его право было правом восходящей державы, проблематичным, все еще незаконным, непроверенным правом, за которое сначала нужно было побороться и завоевать. Потерпевший поражение, он был самым жалким из авантюристов — *un fou*, как называл его Людовик Французский. Только тогда, когда успех показал бы ему, что он вершитель судьбы, только тогда он был бы прав, и доказал бы, что всегда был прав. Ибо каждое деяние, заслуживающее этого названия, на самом деле является испытанием судьбы, попыткой создать право, направлять судьбу и реализовать курс развития. И ненависть, испытываемая к совершившему поступок, с психологической точки зрения есть не что иное, как попытка повлиять на вынесенный ему судьбой вердикт — наивная и иррациональная попытка, потому что вердикт предрешен заранее, но все же духовная тяжесть и давление, которые вполне могут напугать самых храбрых. Короля Фридриха называют Великим не только из-за дерзости, с которой он бросил вызов судьбе, но также и особенно потому, что у него хватило сил выстоять — в одиночку, с почти сверхчеловеческой нервной выдержкой — под таким тяжелым бременем ненависти. Но вся горечь души, все циничное неверие в справедливость, которое характеризует того, кто таким образом искушает судьбу, говорит в тех словах, которые он произнес: “Бедные мы смертные! Мир судит о наших поступках не по нашим мотивам, а по их успеху. Нам ничего не остается, кроме как добиться этого”.

Итак, теперь они собрали свои силы, отряды войск, армии в почти смехотворном избытке, чтобы одолеть его и расчленить в кратчайшие сроки с наименьшими затратами для каждого из них. Каждый с нетерпением ждал своей доли. Елизавета Российская проявила большое упорство, она была еще далека от смерти, она поспешила присоединиться к Версальскому конкордату и подписала особое соглашение с Австрией, в силу которого она должна была послать восемьдесят тысяч человек против Фридриха и Гарри на побережье Пруссии со своим флотом. Франция, которая до сих пор позволяла себя уговаривать, внезапно проявила истерическое рвение. Вторжением в Саксонию, кричала она, был нарушен Вестфальский мир, позорно нарушен, и честь всех гарантов этого мира требовала, чтобы они как можно скорее объединились для казни злодея. Был подписан второй Версальский мирный договор, в котором

говорилося, что Франция предоставит Австрии сто тысяч человек и будет выплачивать двенадцать миллионов гульденов ежегодной субсидии до тех пор, пока последняя не будет в большей безопасности во владении Силезией, а Пруссия не сократится до размеров, которые она имела до Тридцатилетней войны (согласно этому договору Франция все еще должна платить по сей день). Война против Пруссии, союз с Австрией, теперь были настолько популярны в Париже, что Французская академия предложила премию за лучшие стихи в их честь; но французское правительство сочло эту идею глупой и отклонило предложение. И это было еще не все. Фридрих обнаружил, что он поступил нечестно по отношению к “Империи”. Его поступок, по их словам, был нарушением мира в “*рейхе*”. Император приказал ему прекратить неслыханную и злонамеренную мятежную деятельность, возместить ущерб королю Августу и уйти из Саксонии. Он приказал всем генералам Фридриха покинуть своего безбожного повелителя и не участвовать в его отвратительном преступлении. И поскольку все это не принесло ни малейшего результата, вся Германия (эта слепая Германия!) восстала против Фридриха, шестьдесят князей заявили, что его действия представляют собой грабительское нападение, и было торжественно решено провести имперскую карательную кампанию. Швеция, одна из сторон, подписавших Вестфальский мир, и шедшая впереди Франции, была вынуждена смириться с завоеванием Померании. И таким образом, население в сто миллионов человек восстало против примерно пяти; четырнадцать князей против одного; семьсот тысяч солдат против двухсот шестидесяти тысяч. Фредерик выразился мягко, когда сказал, что рискует своей шкурой. Никто не сомневался, что с ним все будет кончено в кратчайшие сроки.

Мне доставит величайшее удовольствие привести отрывок из его писем того периода. У них есть способ заставить память действовать в противоположном направлении, а именно вперед, а не назад, что является определенно волнующим видом воспоминаний.

Маркизу д'Аржену в Берлин: “Французы сошли с ума. Вы не можете себе представить, какие позорные вещи они говорят обо мне. Можно подумать, что все спасение Франции зависело от австрийского дома; и мечты дофины произвели гораздо большее впечатление, чем мой манифест против Саксонии и австрийцев. Короче говоря, мой дорогой друг, я сожалею о последствиях землетрясения, которое затуманило мозги всем государственным деятелям Европы, и я желаю им мира, здоровья и довольства”.

Тайному советнику фон Книпхаузену из парижской дипломатической миссии: “Именно из-за австрийских интриг я вынужден отозвать вас. Когда вы покинете Париж, ничто не остановит поток клеветы против меня. Мои враги придумают столько историй, что французы будут видеть только своими глазами и слышать своими ушами. Что ж, если они хотят быть моими врагами, что ж, очень хорошо; это их собственный выбор”.

Своей сестре из Байройта: “Но поскольку дело дошло до этого, мы должны надеяться, что Провидение, если оно соизволит вмешаться в бедные человеческие дела, не позволит высокомерию и злобе моих врагов восторжествовать над моим правым делом”.

Шверину: “Мой дорогой маршал, нам придется столкнуться со многими врагами, но я не боюсь. У меня отличные генералы, замечательные войска, и, если небеса сохранят мое понимание, я надеюсь также дать хороший отчет о себе.... Но мы должны напрячься до предела, мы должны сокрушить наших врагов, мы не должны бояться численности, а скорее считать честью то, что нам выпало выполнить такую трудную задачу. Мы платим канатоходцам, но не людям, которые

просто ходят по твердой земле; так что в этом мире вся слава достается тем, кто побеждает трудности. Прощай, мой дорогой маршал, я обнимаю тебя”.

Своей сестре Амалии: “Предстоящая кампания для меня то же, чем Фарсал был для римлян, или Левктрам для греков, или Дененом для французов, или осадой Вены для австрийцев. Такие эпохи являются решающими, они меняют облик Европы. Прежде чем принять решение, нужно пережить страшные опасности; но после этого небо снова становится ясным. Наш долг сейчас не отчаиваться, а предвидеть каждое событие и со спокойной совестью переносить то, что дарует нам Провидение, без высокомерия при удачном стечении обстоятельств или депрессии при неудачном”.

Своей сестре из Байройта: “Германия переживает серьезный кризис. Я должен защищать ее свободу, ее привилегии и ее религию. Если я потерплю поражение на этот раз, то только по этому делу. Но я настроен бодро; и как бы ни было велико число моих врагов, я верю в правоту своего дела, в замечательное мужество моих войск и их непоколебимую волю, от командира до последнего солдата”.

Тому же: “Я нахожусь в положении путешественника, окруженного бандой негодяев, которого вот-вот убьют, чтобы убийцы могли разделить свою добычу между собой. Со времен Лиги Камбре не было ни одного случая заговора, подобного тому, который этот злодейский триумвират организовал против меня. Это достойно презрения, позорит человечество и человеческую мораль. Видел ли мир когда-нибудь подобное зрелище, когда три могущественных принца объединяются, чтобы уничтожить четвертого, который никогда не причинил им никакого вреда? У меня никогда не было никаких разногласий ни с Францией, ни с Россией, и уж тем более со Швецией.... *O tempora, O mores!* С таким же успехом можно жить среди тигров, леопардов и рысей, как и в наш якобы столь цивилизованный век, современник убийц, воров и клятвопреступников, которые правят этим бедным миром. Счастлив тот, моя дорогая сестра, кто живет в неизвестности и с юности был достаточно мудр, чтобы отказаться от любой славы! Поскольку его никто не знает, никто не может ему завидовать, и его счастье не может сделать его добычей каждого шулера.... Они составили против меня заговор, и венскому двору было угодно оскорбить меня; это было больше, чем могла вынести моя честь. Итак, начинается борьба, и банда негодяев набрасывается на меня; такова моя судьба”.

Министру фон Финкенштейну: “Не бойтесь так. Пока ничего не потеряно и нет отчаяния. Пока я жив, я буду твердо стоять на ногах и защищаться, как лев”.

Своей сестре из Байройта: “Мы все должны утешать себя мыслью, что наш век - это эпоха в мировой истории, и что мы были свидетелями событий настолько экстраординарных, что ход вещей еще долго не породит подобных им. Это много значит для наших пытливых умов, но мало для нашего счастья. Что ж, эти злодеи из числа императоров, императриц и королей заставляют меня в наступающем году танцевать на натянутом канате. Я утешаю себя надеждой хорошенько треснуть того или иного из них по носу балансиром. Но когда это будет сделано, тогда, наконец, должен наступить мир. Что за человеческие жертвы! Какая ужасная бойня! Я содрогаюсь, когда думаю об этом. Но я должен закалить свое сердце и вооружиться для убийств и резни; я должен героически противостоять трудностям, хотя они всегда ужасны, когда видишь их совсем рядом”.

Графу Маришально Кейту: “Вы говорите, что мои враги злословят меня даже в далеком Эскориале. Я к этому привык. Я не слышу о себе ничего, кроме лжи. Я был более чем сыт по горло вульгарной ложью и презренной клеветой, распространяемой ненавистью и злобой по всей Европе. Но привыкнуть можно ко всему. Людовика XIV, должно быть, так же тошнит от лести, которая льется ему в уши, как меня от постыдных вещей, которые они говорят обо мне. Это недостойное оружие, которое великий князь никогда не должен применять против своих сверстников; ибо в то же время он неизбежно унижает себя и подвергает презрению вульгарные вещи, которые в общих интересах князей сохранять в чести”.

Финкенштейну: “К сожалению, кажется, что мы еще не завершили нашу задачу. У нас слишком много врагов, чтобы иметь возможность добиться такого превосходства над ними, чтобы обеспечить мир. Вся Европа выступает против нас; похоже, это вошло в моду - быть нашим врагом, а вносить свой вклад в наше уничтожение - почетный титул”.

Вольтеру: “Вы, кто не борется с самим собой, не смейтесь, ради Бога, над другими; будьте спокойны, будьте счастливы, что у вас нет преследователей, и учитесь быть беззаботными и наслаждаться покоем, которого вы наконец достигли после шестидесятилетней погони за ним.... Неужели вам все еще, в шестьдесят, так не хватает здравого смысла? И научитесь на старости лет, как вам следует писать мне. Пожалуйста, обратите внимание, что писателям и острякам позволены определенные вольности; но когда они становятся дерзкими, это уже чересчур.... Но хватит, я простил всех в истинно христианском духе. В целом, ты доставил мне больше удовольствия, чем боли. Твой почерк ободряет меня сильнее, чем твои царапины причиняют боль.... Вы так громко взываете к миру, что я вынужден посоветовать вам обратить вашу высокомерную дерзость, которая вам так идет, против тех, кто несет ответственность за задержку заключения мира.... Несмотря на все ваши усилия, я никогда не подпишу мир, кроме как на условиях, отвечающих чести моей страны. Люди вашей родной страны, как бы они ни были раздуты глупостью и тщеславием, могут положиться на то, что я имею в виду то, что говорю”.

Фердинанду Брауншвейгскому: “Если Франция не подпишет мир с Англией, мы безнадежно проиграли; у нас слишком много врагов, слишком много людей обескуражены нашими бедствиями, и моральный дух наших войск явно ухудшился. Вам ничего не остается, как придумать надпись для моего надгробия. Великое бедствие произойдет не раньше середины августа; но к тому времени все будет потеряно безвозвратно. Вы знаете, что обычно я не пессимист, но сейчас нет никакой возможности видеть что-либо еще, кроме черного”.

д'Аржену: “Французы - забавные ослы. Мне нравится враг, который заставляет меня смеяться; я ненавижу моих сварливых австрийцев, раздутых от наглости и гордыни, ни на что не годных, кроме как заставить человека зевнуть”.

Тому же: “Ты ценишь жизнь как сибарит, я смотрю на смерть как стоик. Я никогда не переживу того момента, когда буду вынужден подписать невыгодный мир; никакое красноречие, никакой стимул не заставят меня подписаться под моим собственным позором. Я уже говорил вам и повторяю: я никогда не заключу с пен позорный мир. Я твердо решил поставить на карту все в этой кампании, совершить самые отчаянные подвиги, победить или найти достойный конец”.

“Защита, ” говорит Ранке, “ снискала ему высокое уважение в государствах Европы. Защищая себя, король Фридрих стал великим человеком своего столетия”. — Это верно, и в то же время неправда — в той мере, в какой считается, что война Фридриха против Европы была чисто оборонительной. Спор между историками о том, действительно ли это было так, а не скорее агрессивная война, сегодня разгорается громче, чем когда-либо; но ситуация слишком сложна, слишком запутанна, чтобы дать простой и окончательный ответ. В самом конечном счете, эта гигантская борьба была наступательной войной; для молодых, восходящих держав она всегда, с психологической точки зрения, является агрессором, а другие, существующие державы, находятся в обороне от нее. Несколько более поверхностно говоря, это была оборонительная война, поскольку Пруссия фактически была “окружена” и должна была быть уничтожена со всей возможной скоростью. Затем это снова была наступательная война, в которой Фредерик услужливо затеял ссору. И все же, повторяюсь, это была оборонительная война, ибо, когда шансы один к пяти, это равносильно обороне, даже если это был тот, кто фактически объявил войну пятерым — или, скорее, фактически не смог ее объявить. И, в-пятых, это была наступательная война: на том основании, что самая отчаянная и трудная защита всегда должна спасать себя атакой. “Атакуйте, атакуйте! Наступайте им на пятки!*Attaquez donc toujours!*” Под этот мотив, инстинктивно, он всегда дисциплинировал свои войска, он даже сделал это инстинктивным с ними; и в соответствии с этим он вел войну, не обращая внимания на голоса тех, кто призывал его продолжать обороняться — в ситуациях, подобных той, что была в 1759 году, когдарусские были слева от него, а Дауна справа, а Швеция у него в тылу.

Те друзья, которые у него были, не заслуживали этого названия. Англия рассматривала его как своего солдата против Франции, она была довольна тем, что он держал Францию в узде в Европе, пока она тихо аннексировала французские колонии в Новом Свете; но в интересах бизнеса она отказалась заменить его на Балтике против России; она выплачивала субсидии до тех пор, пока это ее устраивало, а когда это перестало ее устраивать, она прекратила. Как мы знаем, война длилась семь лет — в сказках принцам и сыновьям мельника всегда приходится служить семь лет; но это были семь лет испытания, несколько более сурового, чем когда-либо выпадало на их долю; это было, без преувеличения, самое суровое испытание, которое когда-либо приходилось выдерживать человеческой душе на этой земле. Чтобы выдержать это, требовались такие пассивные и активные качества, такая мера выносливости и терпения, изобретательной и изобретательской энергии, какой ни до, ни после, насколько мне известно, человек никогда не проявлял и не имел возможности проявлять. Семь долгих лет король Фридрих ходил туда-сюда, сражаясь, побеждая то одного врага, то другого, сам будучи побежденным, иногда почти уничтоженным; шатаясь, он снова выпрямлялся, потому что думал о чем-то другом, что еще можно было попробовать; пробовал это с невероятным, неправдоподобным успехом и снова выходил невредимым. Всегда в своем поношенном мундире, в сапогах со шпорами, с форменной шляпой на голове, год за годом вдыхая пыль собственных войск, в атмосфере пота, кожи, крови и порохового дыма, он расхаживал взад-вперед по своей палатке в перерывах между двумя сражениями, печальным поражением и невероятной победой, и играл на флейте, или строчил французские стихи, или писал сварливые письма Вольтеру. Его мать умерла, он даже не повидался с ней; теперь он чувствовал себя более покинутым, чем когда-либо. Умерла его любимая сестра — “*Боже мой, госпожа де Байройт!*” — и его боль от потери свидетельствует о нежности его незаконного сердца. Со временем он сам стал гротескным; он не осознавал ужасающей комичности своего существования, он сравнивал себя с Дон Кихотом, со Странствующим евреем. “Бык должен вспахивать борозду, ” говорил он,

- соловей должен петь, дельфин плавать, а я — я должен воевать”. Он воображал себя приговоренным вести войну до судного дня; он стал призраком для самого себя. Он знал ужасную усталость призраков, их жалкое стремление к покою. “Счастливые мертвецы! Они избавлены от всех забот и неприятностей”. Он всегда держал при себе яд на последний крайний случай; но хотя часто казалось, что последний крайний случай уже наступил, он не принимал его, потому что ему всегда приходил в голову какой-нибудь другой план, и крайний случай проходил. Под воздействием страшного наказания, жестоких превратностей судьбы, постоянного напряжения “самое милое маленькое создание в королевстве” быстро постарело. У него выпали зубы, волосы поседели с одной стороны, спина сгорбилась, фигура становилась все хуже и меньше, он страдал подагрой. И, кроме того, от диареи. На самом деле это были пытки проклятых, которым он подвергался. Но его слава быстро росла — его проступок, его нарушение прав народов были забыты, но его слава как избранника Божьего росла и ширилась подобно дереву и затмевала века. Он был не одинок в том, что разгромил войска маршала Субиза при Россбахе — того самого маршала Субиза, который украл Эльзас и поджег Пфальц, — и стал героем для всей Германии, символом, вокруг которого их подорванная лояльность могла бы снова сплестись. Его поступки и его страдания снискали ему симпатии людей всех наций. Да, его поражения не меньше, чем победы, занимали сердца людей повсюду, а гротескный, донкихотский оттенок в его личности помог возвеличить его в глазах публики и вознести до легендарной славы: его портрет с кривым ртом, сверкающими голубыми глазами, треуголкой, тростью, звездой, погонами — он висел в коттеджах и холлах; пока он был еще жив, он был героем легенды. Отныне его называли *старый Фриц*: внушающее благоговейный трепет имя для любого, кто испытывает чувство благоговения; ибо действительно в высшей степени внушает благоговейный трепет то, что деймон стал нарицательным и получил прозвище.

Он пережил ненависть, психическое сопротивление мира и тем самым лишил моральный дух своих врагов необходимой опоры. Остальное довершили его радикализм, его готовность пойти на все, глубина его решимости, которая казалась его противникам одновременно такой оскорбительной и такой страшной, как чужая и дикая собака, — в конце концов все они содрогнулись перед ним. Его моральное преимущество заключалось в том, что для него это всегда было вопросом жизни и смерти, и это давало ему ощущение абсолютных ценностей, о которых другие ничего не знали. Я не буду говорить о его гениальности как стратега, будучи непрофессионалом в этой области. И я не хочу говорить о его “удаче”, потому что всегда глупо отличать удачу от других достоинств человека и считать ее незаслуженной, а не частью всего остального. И все же, если хотите, ему повезло. Он был на грани гибели, когда Елизавета Российская отдалась своим любовным похождениям и оставила править бедного простака по имени Питер, сказал Петр, восхищаясь Фридрихом до идолопоклонства, так что сразу же заключил с ним мир. Но королю пришлось выиграть еще несколько сражений, прежде чем остальные, наконец, поняли, что это безнадежно, и устали. Он вернулся домой.

Он не выиграл ничего существенного, а его территории были разорены, обезлюдели, обнищали, одичали. Но Пруссия выстояла, не потеряв ни одной деревни; Силезия была в безопасности, а цель Великой коалиции потерпела полный крах. Это было глубокое унижение для континента от рук одного человека. Вердикт судьбы, все вероятности обратного, были вынесены в его пользу; оспорить это в долгосрочной перспективе было невозможно. Они должны были уступить дорогу Пруссии, Германии, чтобы они пошли своим собственным путем — путем, который с тех пор оказался таким же крутым и судьбоносным, таким же полным

разнообразных и поучительных поворотов судьбы, как и любой путь, по которому когда-либо ступал народ.

Что касается его самого, то его дальнейший путь, который продолжался еще долгое время, был унылым, холодным и неприглядным. После этих ужасных семи лет его натура стала еще более сардонической, чем когда-либо прежде. Он сражался и страдал так, как не под силу обычным людям; и теперь все они казались ему ребячеством, ничем не примечательным сбродом. Непонятно, почему он должен был продолжать изнурять себя в трудах ради этой породы, даже когда он задыхался от презрения к ней. Он посвятил себя задаче возместить причиненный им вред, залечить разоренные поля и подлатать пошатнувшиеся финансы, возродить целые отрасли промышленности, присоединить целую провинцию к своему королевству и спасти ее от забвения с помощью великолепной системы колонизации. И все это было бы непостижимо, если бы не думать о его чувстве долга как о своего рода собственности, а о нем самом как об инструменте высшей воли. Его трудолюбие было холодной и безрадостной страстью. Он был выжжен, он был сухим, иссохшим и порочным, он никого не любил, и никто не любил его; его царственное существование было бременем, причем отнюдь не почетным, для остального мира. И когда ему требовалось немного животного тепла, он был рад разделить постель со своей любимой борзой. Он держал очень много собак, и его желанием было быть похороненным рядом с ними. Когда умер последний из них, он проплакал весь день. Он все еще находил некоторое удовольствие в том, чтобы ссорить своих философов между собой; затем он отослал их всех прочь. Ибо если раньше в своей жизни он только насмехался над религией, то теперь он насмехался и над философией, говоря, что хорошее пищеварение важнее знания сути вещей. И у него было очень плохое пищеварение, оно было испорчено сильно приправленными блюдами, на которых он настаивал. Когда, наконец, он умер в возрасте семидесяти четырех лет после мучительной и отвратительной болезни, все, как нам говорят, было мертвенно тихо, но никто не оплакивал его. В его гардеробе не было ни одной чистой, целой рубашки, и его камердинер отдал одну из своих, чтобы одеть труп, который был крошечным, как у ребенка.

Человек склонен думать о нем как о чем-то вроде хобгоблина, объекта ненависти и отвращения, заводящего весь мир в трясину, злобного, бесполого тролля, ради уничтожения которого сто миллионов человек напрасно трудились до изнеможения, поскольку он был создан и послан, чтобы вызвать великие и неизбежные события на этой земле. Затем, после их исполнения, он исчез, оставив после себя оболочку, похожую на оболочку маленького ребенка.

Загадка его существования заключалась в дуализме, который Жан-Жак Руссо свел к формуле: *“Смысл в философии и проводник в жизнь”*. Это великая антитеза, которая включает в себя множество активных противоположностей: например, право и мощь, мысль и действие, свобода и судьба, разум и демон, буржуазная мораль и героическая необходимость. Такие противоположности, объединенные в одну плоть и кровь и превращающиеся в борьбу инстинктов, естественно, не способствуют комфортному, логичному и гармоничному существованию. В результате с обеих сторон возникает ирония, радикальный скептицизм, фанатичное стремление к достижениям, в основе своей совершенно нигилистическое, ощущение власти столь же меланхоличное, сколь и злое. Фредерик написал *“Антимачиавелли”*, и это было не лицемерием, а литературой. Он любил гуманный дух, разум, сухую ясность атмосферы — любил их противоположностями и из глубины своего существа, которое было по сути демоническим, по сути рабом судьбы, сделавшей его своим орудием.

Таким образом, он любил Вольтера, сына духа, отца просвещения и всей антигероической цивилизации. Он поцеловал худую руку, на которой было написано: “Я ненавижу всех героев”; и он сам высмеял свою семилетнюю борьбу словами: “героическая слабость”. Но он черным побелому написал, что если бы он хотел посетить провинцию, где ему грозило бы самое суровое наказание, он бы приговорил ее к управлению писателями; его просветление было настолько поверхностным, что он считал себя пуленепробиваемым; и когда он хочет объяснить, почему он предпочел страшное напряжение и кровавые ужасы войны безмятежному отдыху литературной жизни, он говорит в основном о “тайном инстинкте”. То, что он имеет в виду, было в нем сильнее литературы; оно направляло его поступки, обуславливало его жизнь; и, безусловно, это самая немецкая мысль - думать, что этим тайным инстинктом, этим элементом демонического и сверхличного в нем было: побуждение судьбы, дух истории.

Он был жертвой. Он действительно чувствовал, что принес себя в жертву: свою молодость отцу, свою зрелость государству. Но он ошибался, если верил, что перед ним открыт выбор. Он был жертвой. Он должен был поступать неправильно, он должен был вести жизнь, противоречащую его мыслям, он должен был быть не философом, а королем, чтобы исполнить предназначение великого народа.

1914

III

ОККУЛЬТНЫЙ ОПЫТ

ОПЫТ В ОККУЛЬТИЗМЕ

Хотя этот мир полон проблем - моральных, социальных, интеллектуальных, художественных, — серьезных проблем, решение которых должно сделать честь любому писателю, пролить свет на его имя и заслужить похвалы благодарной публики, я все же осмеливаюсь обратиться к вам с темой, которую даже я сам не могу не считать абсурдной и, по сути, подозрительной. Удивление и презрение, я знаю, будут моей долей от генерала по моему выбору. Но разве люди выбирают себе темы, я спрашиваю? Нет, они пишут и говорят о том, что ими движет, и ни о чем другом; и что, хотя темы, которыми человек пренебрегает, могут претендовать на первостепенную важность, а та, которая захватила в плен его разум, на самом деле вредна. И все мои хорошие, респектабельные идеи были искажены личными контактами и наблюдениями, которые одновременно настолько ребяческие и в то же время до такой степени необъяснимые (если я могу говорить о степенях необъяснимости), что я не могу оторваться от них и нахожу себя, по крайней мере на данный момент, избалованным созерцанием тех более незапятнанных, тех более здравых, целомудренных сфер мысли, где я мог бы двигаться с таким почетом к себе. Я говорю "избалованный". И действительно, это своего рода разложение, которым веет из

области, которую я имею в виду: той, возможно, неглубокой, но подземной области, того мутного и двусмысленного плана существования, с которым по своей глупости я соприкоснулся; оно уводит меня от моих законных забот к тем, которые, как я прекрасно знаю, не принадлежат мне, хотя они оказывают на мое воображение и мой мозг острое притяжение, подобное парам древесного спирта (в отличие от букета чистого вина духа цивилизации). Я хорошо понимаю, как человек может пасть жертвой их как порока и из-за этой мономаньяческой, тщеславно-глупой озабоченности навсегда потеряться для высшего морального мира.

Мой случай не что иное, как следующий: я попал в руки оккультистов. Не совсем спиритуалисты — хотя некоторые из них тоже были на собрании, которое я недавно посетил. Но мы должны различать. Спиритуалистическая догма ни в коем случае не является обязательной для группы международных ученых — не такой уж и маленькой группы сейчас, — члены которой называют себя оккультистами, потому что они посвящают себя изучению явлений, которые в настоящее время кажутся нам противоречащими естественному порядку, каким мы его знаем. Теория духа в целом, как метод объяснения определенных головоломок, даже многими исследователями отвергается с жестом строгой научной честности. И все же справедливости ради следует сказать, что при проведении оккультных мероприятий эти джентльмены-ученые действительно используют в своих интересах сверхнормальное или, во всяком случае, ненормальное расположение определенных людей, которые не имеют большого веса на интеллектуальной шкале; и что эта техника (я имею в виду, конечно, сомнамбулическое состояние так называемых медиумов) постоянно переходит в трансцендентальное и метафизическое. Но метафизика, конечно, не является спиритуализмом; еще меньше спиритуализм является метафизикой. Разница в степени настолько велика, что становится разницей в роде; и, конечно, вполне понятно, что философская метафизика должна стремиться держать спиритуализм на расстоянии вытянутой руки. Для спиритуализма — веры в духов, *ревенантов*, призрачных разумных существ, с которыми можно вступить в контакт, задавая вопросы столу и получая в ответ самые банальные фразы, — спиритуализм на самом деле является разновидностью закулисной метафизики, слепой доверчивостью, которая, с одной стороны, не соответствует концепции идеалистических спекуляций, а с другой стороны, совершенно неспособна к метафизическим оргиям эмоций. Хорошим примером первой альтернативы является шедевр Шопенгауэра "*Мир как воля и идея*"; в то время как в "*Тристане и Изольде*" Вагнера мы обладаем классическим *opus metaphysicum*. И стоит только упомянуть об этих возвышенных полетах интуиции, чтобы сразу почувствовать прискорбную тривиальность всего того, что называет себя спиритуализмом, хотя на самом деле это не столько метафизика, сколько воскресное развлечение для прислуги.

Но является ли человеческое достоинство критерием истины? Да, в некотором смысле это так. Есть человек, герр Кралл из Эльберфельда, хорошо известный своими знаменитыми расчетливыми лошадьми, человек, чье ремесло и деятельность граничат с оккультизмом. Я слышал, как герр Кралл сказал: "Если призраки существуют, то есть все основания, по которым человек должен молиться о долгой жизни; ибо, судя по их предполагаемым проявлениям, не может быть ничего более безвкусного, детского, тщетного, запутанного и жалкого, чем существование этих существ". Это напоминает знаменитое высказывание о тени Ахилла на киммерийском берегу, когда Одиссей проводил там спиритический сеанс. Тщеславным и бессмысленным сын Пелея называет существование мертвых; и, в конце концов, языческий мир мог бы именно так воспринимать жизнь после смерти, не принимая ее за истину, факт или догму. С другой стороны, для христианина было бы очень нехорошо представлять себе другой

мир, в котором все было бы еще ничтожнее, глупее и бесполезнее, чем в нашей земной сфере; и когда, как это действительно легко может случиться, разум стучит по столу и представляется обществу как дух Аристотеля или Наполеона Бонапарта, только для того, чтобы опровергнуть это утверждение сотней грубых ошибок, неуклюжести и явно намеренных перетасовок, тогда, я думаю, мы вправе, исходя из соображений вкуса, прийти к выводу, что это не только не Аристотель или Наполеон, это вообще никто, а всего лишь действующий так, как если бы это было так; и что любое снисхождение к подобным событиям ниже всякого человеческого достоинства.

Все это было бы прекрасно, если бы только не оставалось сомнений в том, являются ли достоинство и хороший вкус абсолютными критериями в области науки, в поиске истины, короче говоря, в том процессе, посредством которого природа исследует саму себя через разум человека. Достоинство существует только в области чистого духа; и метафизика, в смысле трансцендентальной спекуляции в теории познания, принадлежит к этой области. Но когда метафизика становится эмпирической; когда она снисходит, или начинает чувствовать себя обязанной, или поддается искушению проследить загадку вселенной *экспериментально* — а именно это она делает в оккультизме, который есть не что иное, как эмпирическая, экспериментальная метафизика, — тогда она не должна рассчитывать на то, что ее руки будут чистыми, а осанка величественной. Единственное достоинство, которое у него осталось, — это несократимый остаток, который должен быть прилеплен ко всякому честному служению делу истины; и он должен принять решение, что ему придется иметь дело с большим количеством грязи и глупости. Ибо медиумизм и сомнамбулизм, источники оккультных феноменов, представляют собой смешение сверхчувственных тайн с тайной органической жизни; и результат получается мутный. Больше нет никаких разговоров о вкусе, об умственной или духовной новизне или о красоте опрометчивости. Ибо здесь природа выходит на поле боя; а природа — это двусмысленный элемент: нечистый, непристойный, злобный, демонический; в то время как человек, гордый человек, по самой своей сути противоположный ей, любит напускать на себя аристократический вид и находить свое особое достоинство в том, чтобы забывать, что он дитя природы в такой же степени, как и дитя духа. И все же, если бы кто-то серьезно, по гуманным соображениям, запретил метафизике становиться экспериментальной, то есть практиковать оккультизм, это означало бы отрицать естественные исследования, познание природы в целом, всякую человеческую ценность и значение, как это делали средние века и Церковь. Как будто сами точные естественные науки останавливаются на том этапе, когда столкновение с метафизикой становится неизбежным! Тот факт, что я очень мало знаю и понимаю знаменитые доктрины Эйнштейна (за исключением того, что, более или менее, вещи имеют четвертое измерение, а именно время), так же мало мешает мне, как и любому другому разумному неспециалисту, видеть, что в этой доктрине относительности граница между математической физикой и метафизикой стала зыбкой. Является ли это все еще “физикой”, или что это такое, когда они говорят нам — и они говорят нам сегодня, — что материя в конечном счете и по большей части нематериальна, это всего лишь одно из проявлений энергии, и ее мельчайшие части, которые не являются ни малыми, ни большими, хотя и действительно окружены пространственно-временными энергетическими полями, сами по себе безвременны и беспространственны?

Но хватит теоретизировать. Давайте перейдем к моему опыту. Они начинаются с моего знакомства с человеком, мнения о котором в последнее время сильно разделились: одни считают его шарлатаном и предателем, другие уважают его как подлинного и достойного

исследователя и одного из зачинателей новой науки. He is Dr. Albert Freiherr von Schrenck-Notzing. Практикующий врач, из семьи врачей, специалист по нервным заболеваниям, сексопатолог, он более тридцати лет назад пришел к изучению оккультизма путем гипноза и сомнамбулизма. Похоже, что какое-то время он склонялся к спиритуализму; но сегодня он отвергает его и относит все необъяснимые явления, которые он вызывает и наблюдает, к действию неизвестных, но естественных сил, которые со временем будут признаны таковыми.

Появление его книги "*Феномены материализации*" за несколько лет до войны вызвало полномасштабный общественный скандал. Из официального и образованного мира посыпался град протестов против такого сочетания доверчивости, запутанного мышления и мошенничества. Публика, насколько она вообще о ней узнала, покатывалась со смеху; и действительно, книга была суровым испытанием нашей серьезности как в отношении текста, так и иллюстраций — фотографий, которые казались одновременно глупыми и гротескными. Не было недостатка в доказательствах того, что доктор Шренк-Нотцинг был одурачен - и это, вероятно, было правдой не в одном случае. К сожалению, медиумические способности, какими бы подлинными они ни были, не являются гарантией хорошего характера. Напротив, кажется, что они даже обладают совершенной склонностью к мистификации. Как бы то ни было, в течение многих лет казалось, что Шренк-Нотцинг безвозвратно подорвал свое доброе имя как ученого.

Шли годы. Пришла война, а с ней и немыслимые шансы и перемены. Когда вышел второй том "*Феноменов материализации*", атмосфера в нем совершенно изменилась. Не то чтобы второй том был менее безумным, чем первый, или что официальный научный мир, пресса или общественность приветствовали его более сердечно, чем раньше. Нет, в них не было ни капли презрения. Но обоим, казалось, не хватало убежденности, они были менее подкреплены, чем раньше, комфортной уверенностью в себе. В воздухе витала мягкая покорность судьбе, фаталистическое *невмешательство*. Люди вынесли столько, что и не мечтали вынести, на их долю выпали такие возмутительные переживания, что даже их честному негодованию не хватало должного звучания; оно безошибочно выдавало склонность к обострению.

В политике всегда есть правое и левое крыло. Таким образом, в научном мире по отношению к оккультизму существует сильно консервативная и радикально-революционная позиция, со всевозможными оттенками и градациями между, с одной стороны, упорным отрицанием всех рационально необъяснимых, но постоянно сообщаемых проявлений, таких как телепатия, истинные сновидения и второе зрение, и, с другой стороны, фанатичной и некритичной доверчивостью, основанной, последнее, не столько на твердом почтении к тайне, сколько на бесчеловечном предубеждении против всего разума и науки. И непримиримая консервативная позиция во многом на его стороне — как, в конце концов, и в политике. Ибо между правой и левой сторонами лежит наклонная плоскость, на которой слишком легко поскользнуться; признать веру в один-единственный случай оккультизма - значит протянуть свой мизинец дьяволу, который почти безошибочно отнимает всю руку, а вместе с ней и всего человека. *Principiis obsta!* Сегодня в Германии начинает преобладать опасный либерализм в лагере ортодоксальной науки - в Германии, которая до сих пор могла считаться оплотом консерватизма в этом отношении. За границей — в Англии, во Франции — всегда был более уступчивый нрав, который чаще проявлялся. (Я не буду говорить об Америке, где, кажется, ненужное количество чепухи смешалось с оккультными исследованиями.) Возможно, на нас, немцев, повлиял тот факт, что книга Шренк-Нотцинга была переведена на английский; что

Общество психических исследований два года назад пригласило в Лондон его главного медиума, человека по имени Ева К., и опубликовало очень серьезный отчет о сеансах с ней; что французские ученые, такие как Рише, Фламарион, Гюстав Гели, доктор Бурбон и другие, поддержали смелость этого отчета, проверили его эксперименты, подтвердили его результаты. В целом, налицо легкая шаткость, определенная деморализация нашего консервативного и скептического фронта. Есть предатели, и эти предатели держатся в секрете до того, как онистанут достоянием общественности. Есть университетские профессора, и не только философы и психологи, но и естествоиспытатели, физики, физиологи и терапевты, которые пользуются плохим освещением улиц Мюнхена, чтобы тайком, как заговорщики, пробираться на вечерние заседания герра фон Шренк-Нотцинга, чтобы увидеть то, что им видеть не выгодно. Ибо они должны знать, и они знают, что единственный способ остаться невредимым - это закрыть глаза и ничего не видеть. Они потеряны, или почти потеряны, все дело в их скептицизме — или, скорее, *начинается* их скептицизм, — когда они видят. Есть примеры. Пользующийся большим спросом мюнхенский окулист открыто признался, что после того, что он увидел у Шренк-Нотцинга, он стал “очень осторожен в своем скептицизме”. Очаровательная фраза — самые двусмысленные фразы обычно самые очаровательные. Ибо я утверждаю, что не может быть истинного скептицизма, который не скептивен сам по себе; а скептик, по моему скромному мнению, это не просто тот, кто верит в предписанные вещи и отводит глаза от всего, что может поставить под угрозу его добродетель. Скорее всего, ваш истинный скептик, выражаясь обычным языком, найдет возможными всевозможные вещи, и он не будет, ради условности, отрицать свидетельства своих здравых чувств.

Что касается меня, то теоретически я всегда стоял довольно далеко слева в этом оккультном бизнесе; придерживаясь, в смысле тотального скептицизма, который я только что определил, того, что все виды вещей вполне возможны; но не хвастаясь каким-либо личным или практическим опытом в сверхчувственных сферах. Я покоился на теоретической благожелательности. Я почувствовал и, возможно, даже случайно выразил желание присутствовать на заседании, но из этого ничего не вышло, и то, что из этого ничего не вышло, вероятно, было моей собственной работой.

А сейчас? В настоящий момент? Совсем недавно? Вы должны позволить мне рассказать историю так, как она сложилась. У меня был посетитель, художник из газеты комиксов, с заказом сделать на меня карикатуру. Очень хорошо. Он нарисовал мне кривой нос, и одно привело к другому. Одному Богу известно, как мы заговорили о герре фон Шренк-Нотцинге. Слышал ли я, что он работает с новым медиумом, спросил мой гость, продолжая отпускать шуточки карандашом. Это был юноша, едва ли еще мужчина, по имени Вилли С., дантист по профессии и чертовски талантливый парень в области психологии. Шренк получил от него совершенно безумные проявления. Он нашел его, привез в Мюнхен, нашел ему жилье и работу, помимо уплаты задатка за предоставление эксклюзивных услуг Вилли. Он работал с ним уже год и так хорошо обучил его, говоря экстрасенсорно, что Вилли, в отличие от большинства медиумов, мог переносить почти постоянную смену аудитории, испытывая редчайшие разочарования. Это было важно для Шренк-Нотцинга ради пропаганды. — “Можно ли увидеть сеанс?” Я спросил. Человек-художник счел это вполне возможным. Он знал Шренк-Нотцинга и хотел бы сам сходить на такой. Предоставьте это ему, он организует приглашение.

Так оно и получилось. Последовала встреча по телефону; и однажды зимним вечером, в восемь часов, ближе к Рождеству, я оказался в трамвае со своим карикатуристом, направлявшимся на

спиритический сеанс. Мы оба были в приподнятом настроении, возбуждены, нам было любопытно, что-то среднее между буйством и фанком, что-то вроде чувств молодого человека, впервые идущего к девушке.

Роскошная резиденция барона фон Шренк-Нотцинга находится недалеко от Каролиненплац, в фешенебельном квартале. Мы прибыли, и слуга провел нас через мраморный вестибюль и поднялся по нескольким ступенькам в прихожую. Когда мы сняли свои вещи, наш хозяин приветствовал нас с холодной, аристократической вежливостью и провел в просторную библиотеку, где уже собрались другие участники предстоящего сеанса. Только один из них был мне известен. Я обратился к нему, выразив свое удивление, обнаружив его здесь. Это был профессор Г., зоолог, увлеченный спортсмен, бегун на лыжах, яхтсмен и альпинист, безбородый, моложавый мужчина, хотя определенно лет сорока пяти; явно выходец из дома и любящий природу — я бы никогда не обвинил его в какой-либо тяге к оккультизму. Последовало представление. Я был рад познакомиться с Эмануэлем Райхером, знаменитым актером и американцем, пишущимся через дефис, который как раз тогда жил в Германии. Затем была экономка и приемная мать медиума, вдова средних лет по имени фрау П., тоже польская художница, белокурая и чисто выбритая, полная дружеской болтовни грубоватым, сердечным голосом. Затем тот или иной представитель швабской интеллигенции. Но среди интеллектуалов-мирян численно превосходили, по крайней мере в этом случае, медики и естествоиспытатели. Был еще один профессор зоологии, типичный *геллертер*, мягкий и застенчивый; молодой врач из Швейцарии; еще молодой немецкий врач, ассистент мюнхенской больницы, который привез с собой аппарат для измерения кровяного давления; веселая светловолосая дама, специалист по массажу нервов.... Многие из присутствующих были новичками, Райхер в том числе. Казалось, он не был связан с оккультизмом, а просто принадлежал к представленному социальному кругу.

Медиум, Вилли С., держался скорее на заднем плане. Барон представил ему меня среди прочих. “Вот, - сказал он, “ наш звездный исполнитель”. Он повторил эту фразу несколько раз, очевидно, с целью пробудить в молодом человеке чувство собственной значимости, но также и для того, чтобы расположить меня в пользу этого драгоценного и изящно органичного инструмента его экспериментов. В моем случае его беспокойство было совершенно излишним. Мои симпатии были безграничны, и я приложил все усилия, чтобы наш художник почувствовал, что я не враждебный зритель, присутствующий здесь с единственной целью - наброситься и разоблачить его с торжествующим ревом. Я был скептиком с положительной стороны, который радовался бы своему успеху — я хотел, чтобы он знал это. Обман? Между обманом и реальностью было много степеней, и в какой-то момент они стали одной. Возможно, это был своего рода естественный обман, с которым было бы так же приятно поговорить, как и с реальностью! Я пришел сюда, нисколько не обманывая себя, чтобы увидеть то, что там можно было увидеть, только это, не больше и не меньше. Я перекинулся несколькими словами с Вилли С. и попытался составить представление о его личности. Я нашел темноволосого юношу лет восемнадцати-девятнадцати, не без привлекательности, в нем определенно не было ничего примечательного. Его происхождение было предельно простым; его речь представляла собой южногерманско-австрийский диалект, а манеры были приличными и дружелюбными, без малейших признаков желания выслужиться чрезмерной вежливостью. Его ответы на мои будничные вопросы были односложными; и он казался, что вполне оправданно, чем-то вроде страха сцены, состояния подавленного возбуждения, соединенного с застенчивостью, естественной для его юности.

Молодой врач позвал мастера Вилли измерить ему кровяное давление, а я отвернулся и последовал приглашению нашего хозяина осмотреть прилегающую лабораторию. Это была большая комната, заставленная всевозможными фотографическими аппаратами и приспособлениями для магнитофонной вспышки. Там были столы и стулья, на которых стояли или лежали разнообразные предметы: музыкальная шкатулка, маленький настольный колокольчик с ручкой, пишущая машинка, несколько белых войлочных колец и так далее — предметы, сами по себе неинтересные, но которые юный Вилли мог использовать для выполнения странных дел. Мы вернемся к ним. Там было что-то вроде клетки из тонкой проволоки, в которую они заключили юношу во время строго научного и критического заседания. Это не помешало ему сделать то, чего они не могли объяснить. Наконец, был так называемый “черный кабинет”, о котором так много говорилось и еще больше шептались. Некоторые из предшественников Вилли остро нуждались в нем. Я заглянул внутрь. В нем не было ничего особенного. За занавеской высотой до потолка, отделявшей один угол комнаты от остальных, стояли безразличные доски. “Нам не понадобится кабинет”, — сказал доктор фон Шренк-Нотцинг. Вилли в нем не нуждался. Он был сильным. Во время операций он сидел прямо в комнате. Тем лучше. Мой позитивный скептицизм поглотил и шкаф — но если Вилли был силен, что ж, тем лучше. Мы вернулись в библиотеку. За ней находился кабинет с письменным столом, где Вилли совершал свой сидячий туалет.

Он сделал это не сам. Ни в коем случае. Он сделал это под пристальным контролем трех человек: хозяина дома и двух помощников. На этот раз доктор фон Шренк назначил ассистентами энергичного невролога и меня. И мы оказали ему услугу, хотя в глубине души я сомневался в своей пригодности для этой должности. Я чувствовал себя расслабленным и доброжелательным и был склонен рассматривать надзор как формальность. Я не чувствую себя дома в роли сомневающегося наблюдателя; это смущает меня, это противоречит моей человечности. Вы не можете ожидать, что мужчина повернется к вам своей хорошей стороной, когда вы принимаете его плохую сторону как должное. Этот юноша, который сейчас препоясывает свои чресла, чтобы творить чудеса, — почему я должен портить ему настроение, показывая, что подозреваю его в подготовке моего ареста? Я скептик, но я хочу, чтобы что-то произошло. И все же, не могло ли это быть самой фундаментальной и крайней формой скептицизма? Возможно, я, в своей распушенности и доброжелательности, был самым неверующим из всех? — Но не более того, на данный момент. Приводите себя в порядок, молодой человек, я присмотрю за вами.

Барон показал нам черное цельнокроеное трико, в которое Вилли должен был закутаться от шеи до лодыжек. Он призвал нас внимательно рассмотреть его, пощупать со всех сторон. Он придавал большое значение критическому отношению. Одежда из хлопчатобумажного трикотажа. Очень хорошая. В этом не было никаких признаков обмана; и Вилли натянул ее на свое загорелое мальчишеское тело. Когда он это сделал, я поймал застенчивый и серьезный взгляд, который он бросил на мою коллегу, светловолосую даму-невролога, которая беспечно созерцала потолок. Но в одном только трикопарень мог замерзнуть, это было по-человечески просто; поэтому ему дали еще халат, удобное старое ватное кимоно барона, которое мы также добросовестно осмотрели, карманы, подкладку и все остальное. Старый добродушный халат. Хорошо. Но у него была одна любопытная особенность: барон объяснил нам это. Оно было повсюду отделано лентами, на рукавах, швах, подоле, везде пришито. И эти ленты были обработаны светящимся препаратом, чтобы вы могли разглядеть очертания фигуры Вилли даже при тусклом освещении и легко держать ее в поле зрения. Это показалось разумной

предосторожностью. Еще одна светящаяся лента была обвита вокруг его головы, как диадема; он сунул ноги в старые турецкие тапочки. Они завершили приготовления. Или нет. Ибо, когда он стоял одетый, он очень широко раскрыл пасть, как лев, как будто хотел проглотить нас. Я задыхался, пока мне не объяснили, что это вопрос контроля над полостью рта. Черт возьми! И я был на волосок от того, чтобы забыть о полости рта. У него уже был один золотой зуб, к чести его профессии. В остальном это была безупречная полость рта. Мы осмотрели ее вплоть до голосовой щели. Ради Бога, хватит. Мы вернулись в другую комнату.

Хор дружеских возгласов приветствовал нас. Старые рабочие приветствовали своего Вилли в его профессиональной маске. Это был веселый маскарад, и сам Вилли в своих таларах и священнических бандах тоже смеялся в добродушном смущении. *Allons, mes enfants!* Компания ввалилась в лабораторию, и наш хозяин закрыл за нами дверь.

Все выглядело серьезно. В этой странной комнате, которая была похожа на фотостудию, должны были происходить противоестественные события, вплоть до предметов, которыми можно было отвлечь внимание детей. Признаюсь, я был немного малодушен, испытывал внутреннее сопротивление, сомневался, был ли я лично подходящим кандидатом для этого предприятия. Но теперь руководитель эксперимента, совершенно без приглашения, доверил мне управление медиумом, домовладелицей Вилли, фрау П., выступающей в качестве второго контролера; и сразу же начал инструктировать меня по технике. И техника эта была, со всей серьезностью, очень тщательной и действительно приносила удовольствие. Я сел напротив молодого человека, поставив свой стул вплотную к его стулу, его колени оказались между моими. Я держал его за обе руки, а мой ассистент - за оба запястья. Никто не мог отрицать — а я был далек от этого, — что Вилли был надежно арестован; мы сидели и идиотски смотрели друг на друга, в то время как остальная компания занимала свои места, болтая.

Мы сгруппировались перед занавесом, образовав неправильный круг, замкнутый на три четверти. На одном конце сидел медиум, с нами “контролеры”, а на другом - хозяин заведения. Не всем присутствующим нашлось место в этом кругу; двум или трем людям пришлось отойти во второй ряд, где они стояли или сидели, как им заблагорассудится. Среди них был профессор спортивной зоологии, который, к моему удивлению, вооружился аккордеоном. Оказалось, что он был искусным исполнителем на этом инструменте, востребованным на экскурсиях и летних вечерних вечеринках в саду, и особенно желанным на таких собраниях, как нынешнее, поскольку медиуму нужна музыка, почти непрерывная музыка, для его демонстраций — темпераментное требование, которое было бы глупо не удовлетворить. Профессор Гурджиев со своей гармошкой внес разнообразие в программу, которая в противном случае была бы представлена только музыкальной шкатулкой, игравшей одну-единственную и даже не очень приятную мелодию.

Комната все еще была освещена обычным белым электричеством, с помощью которого барон вносил последние штрихи в свои приготовления. Маленький столик стоял в нашем кругу, не совсем посередине, скорее ближе к нашему хозяину, чем к медиуму, от которого он находился примерно в пяти футах. Барон измерил расстояние с помощью мерки, а затем поместил на нее несколько предметов: лампу с красным абажуром, настольный колокольчик, тарелку с мукой, маленькую грифельную доску и кусочек мела. У стола стояла перевернутая вверх дном большая корзина для бумаг, а на ней музыкальная шкатулка; не та, на которой должны были играть (она стояла на полке за креслом барона), а другая, поменьше, на которой герру Вилли предстояло

продемонстрировать свои способности. Пишущую машинку барон поставил где-то на ковре рядом с собой; затем он разложил войлочные кольца по полу внутри круга. Они светились, как ленты на одежде Вилли, и к одной или двум из них была прикреплена длинная светящаяся бечевка. Более того, все более крупные предметы, насколько это было практически возможно, корзина для бумаг, музыкальная шкатулка, настольный колокольчик, также были помечены светящимися лентами. Эти ленты были собственным изобретением барона, он гордился ими и использовал в изобилии.... Свет погас.

Но он снова включился, потому что Вилли, сидевший там во время моего ареста и все еще не пришедший в себя, кое-что вспомнил. “Булавки, герр барон,” сказал он. Этот достопочтенный юноша сослался на еще одну меру предосторожности, которая была упущена из виду. Барон приколол рукава и подол бархатного халата булавками с толстыми белыми светящимися головками. Другие такие же уже были воткнуты в занавески справа и слева от проема, так что каждое движение их складок должно было выдавать себя. Белый свет снова погасили. Единственным освещением теперь было темно-красное мерцание плафона под потолком и маленькой лампы на столе, которая также была затенена. Для неподготовленного глаза освещение было довольно скудным. Но барон заверил нас, что это лучшее, что он мог сделать. Все его усилия не увенчались успехом в обеспечении большей терпимости к свету. “Я борюсь,” сказал он, “за каждый лучик, но это все, что я могу получить на данный момент”. Однако Вилли сам излучал свет; то же самое делали войлочные кольца, ленты на других предметах и булавки в занавесках. В конце концов, поле деятельности было видно; и через некоторое время крышка стола показалась действительно довольно хорошо освещенной. Нас попросили немного помолчать, во время чего музыкальная шкатулка исполнила свой единственный номер, чистую детскую мелодию с короткой повторяющейся мелодией и звенящим аккомпанементом. Мы ждали. Я, в частности, ждала, держа руки Вилли в своих, не слишком крепко и не слишком свободно.

Внезапно, через две или три минуты, он задрожал. Дрожь пробежала по нему, и его руки, взяв мои за плечи, начали совершать накачивающие и толкающие движения. Его дыхание стало прерывистым и хриплым.

- Транс, - объявил мой опытный ассистент.

Итак, парень впал в транс под моими руками! Я никогда раньше не наблюдал этого состояния и уделял ему самое пристальное внимание, будучи убежден, что это состояние имеет самые далеко идущие последствия. Пока это длится, эго Вилли разделяется на двух символических персонажей, для целей представления его мечты, мужчину и женщину. Он называет их Эрвин и Минна. Ребячество. Фокус-покус. Никто не воспринимает Эрвина и Минну всерьез, но ради дела мы готовы потакать их прихоти: с этого момента мы игнорируем существование Вилли и придерживаемся этих двоих, у которых есть простой способ прояснить, кто есть кто. Эрвин - деревенщина. Он проявляет себя энергией, с которой Вилли обнимает его, но редко делает что-то стоящее внимания, оставляя серьезное дело своей более мягкой и умелой сестре. Мой ассистент подумал, что это Минна сейчас трясет нас за плечи.

- Минна здесь? - спросил барон.

Да, она была там. Вилли быстро и крепко пожимает мне руку; так Минна говорит "да". Вместо "нет" происходит боковое движение рук и туловища вперед-назад. Более того, сомнамбулист

будет разговаривать с органами управления; его голос - быстрый, громкий, еле слышный шепот с определенной напряженностью.

Барон приветствует Минну. “ Добрый вечер, Минна. Здесь есть хорошие друзья, большинство из них ты знаешь, есть и новички, но ты ведь не возражаешь против этого, не так ли?

Движение взад-вперед в отрицании.

“Сегодня управляющий - очень отзывчивый человек, полный самого сердечного интереса к вам и вашим способностям. Я надеюсь, ты покажешь ему что-нибудь приятное”.

Пожатие моей руки, короткий выпад туловища Вилли вперед. Да, она обещает — достаточно абсурдно, что невольно произносишь “она”.

- Ну что ж, Минна, делай, что можешь.

И начинается общий разговор. Он должен начаться, медиум требует этого. “Говори”, - бормочет он мне на ухо, и я передаю слово дальше. Компания сформировала сеть и работает рука об руку. Возможно, это пережиток спиритических салонных игр, возможно, это органическая необходимость. Трудно сказать. В любом случае, Вилли настаивает на этом и продолжает нашептывать нам, чтобы мы держали цепь крепко. Мой сосед слева тоже поддерживает со мной связь, его правая рука лежит на моем плече и предплечье. Мы разговариваем в темноте, говоря все, что приходит нам в голову, едва ли зная, кому. Это нелегко. Предмет обсуждения иссякает, вынужденный разговор то и дело прерывается или замирает, поскольку наше настоящее внимание сосредоточено не на нем. Но нас предостерегают от слишком пристального наблюдения за явлениями. Наш руководитель рекомендует парящую позу, подвешенное настроение, которое может быть вызвано музыкой, которая теперь смешивается с нашими громкими, искусственными голосами. Профессор зоологии заиграл позади нас на своей гармошке, хрипя быстрой чередой задорных маршей. Его ресурсы, по-видимому, безграничны; и когда он запинается, музыкальная шкатулка подхватывает напряжение своей негромкой мелодией.

Фантастическая обстановка. Нетрудно понять, почему наука, которая ориентируется на точные ценности, чувствует себя как дома в сухом, объективном воздухе лаборатории и привыкла к чисто абстрактной работе с аппаратурой и подготовленными объектами, должна чувствовать себя отстраненной от этого слишком человеческого рода экспериментов. То же самое и с мирянином. Он пришел настроенным на наводящую атмосферу и настроение посвящения и тайны. Он разочарован, оказавшись в ситуации, которая, вероятно, вызывает у него отвращение как интеллектуально, так и эстетически, наводя на мысль о слащавых методах возрождения Армии спасения. Это впечатление усиливается криками, которыми зрители продолжают подбадривать медиума — или, скорее, исполняющую обязанности Минну: “Привет, Минна, ты здесь? Взбодрись, покажи нам, на что ты способна! Продолжай, Минна!” Единственная мистическая вещь в этой ситуации — и это не в каком-либо духовном смысле, а в связи с органическими тайнами, примитивными и одновременно трогательными — это сам медиум, когда он мечется и молотит руками, шепча быстрыми стонами и задыхаясь: " он - главный объект моего любопытства". Его состояние и действия поразительно и безошибочно напоминают мне акт родов. Голова то откидывается далеко назад, то опускается на мое плечо

или на наши руки, которые настолько мокры от пота, что мне постоянно приходится возобновлять хватку. Его усилия совершаются с интервалами, подобными мукам; паузы между ними - это периоды полного покоя и недоступности, во время которых он спит, склонив голову набок на грудь, и набирается новых сил. Это глубокий транс, из которого он выходит, чтобы возобновить свой детородный труд.

Мужская лежанка в красноватой темноте, среди болтовни, криков и джаза. Это не было похоже ни на что другое в мире. Я подумал, что на это стоило бы посмотреть, даже если бы больше ничего не произошло. И действительно, казалось, что ничего другого и не произойдет. “Ребенок” не появился. Ничто сверхъестественное не было склонно проявлять себя. Правда, некоторые из наших зрителей в своем стремлении увидеть происходящее предвосхитили его. Две светящиеся булавки торчали из халата Вилли, хотя были воткнуты глубоко и прочно. Они лежали на полу, одна из них довольно далеко от него. Нетерпеливый сказал, что их похитили; но было вполне возможно, если не сказать вероятно, что извивания Вилли вынудили их выйти. Но тогда как насчет двух зажженных колец, которые лежали непосредственно перед занавеской? Первоначально они были видны по всей своей окружности, не будучи частично скрытыми портьерами; но в течение последних нескольких минут их положение изменилось, теперь вы могли видеть только около трети из них; либо занавеска сдвинулась вперед, либо кольца отодвинулись назад, в то время как в следующий раз, когда вы посмотрели, они снова были видны полностью, без занавески, а не под ней. И это было проявлением. Слабым, неопределенным, но этого должно было быть достаточно. И разве я не почувствовал дуновение более холодного воздуха, выдыхаемого медиумом, — это всегда предвещало новые явления? Нет, честно говоря, я был бы рад любому глотку более прохладного воздуха, но ничего подобного я не заметил.

А время идет. Трудно судить, сколько уже прошло; возможно, три четверти часа. Очевидно, медиуму приходится нелегко. Они спрашивают, так ли это, но он отрицает это и продолжает бороться. Они спрашивают, все ли в порядке, и ответ утвердительный. Но я ему не верю. В частном порядке я беру на себя вину за отсутствие у нас успеха. С самого начала я сомневался, что моя натура поможет доброму Вилли в его работе; и теперь я уверен, что там, за гранью, он разделяет мои сомнения. Он, конечно, отрицает это; это простая вежливость — как бы странно ни звучало говорить о сомнамбулической вежливости. Насколько я могу наблюдать, ни в коем случае не исключено, что цивилизованные и личные соображения оказывают сдерживающее воздействие в этом состоянии; и Вилли абсолютно не отрицал, что это так. Он сказал шепотом: “Вы хотите, чтобы явления происходили быстрее?” Ну? И что тогда? Тишина. Он хотел паузы? По-прежнему тишина. Затем он начал пинать ногами; барон сосчитал. Пятнадцать раз. Затем пятнадцатиминутная пауза. Хорошо. Мы останавливаемся, временно.

Медиуму дается время прийти в себя до включения света. Он проделал замечательные приготовления: скребущие движения рукой по бокам, которые, по крайней мере, в его воображении, служили привлечению органических сил, которые были посланы наружу, но еще не проявились. Он несколько раз вздрогнул и глупо заморгал от яркого света. Мы вышли в соседнюю комнату.

Были зажжены сигареты. Вилли тоже курил, сидя на диване в своем костюме. Была обсуждена позиция. Это было далеко не обескураживающе. Временная заминка. Потребность в отдыхе не была чем-то необычным. Абсолютно негативное сидение очень редко случалось с нашим

Вилли. Ничто не было потеряно. Приемная мать Вилли развлекала нас рассказами об их домашнем опыте. Вероятно, им придется переехать в другую квартиру. Люди возражали против неуместных вещей, которые всегда происходили, где бы ни был Вилли: спонтанные явления, знамения и чудеса. Кулаки стучали в стены. Руки делали то, чего им никто не приказывал. Ведьмак самым неожиданным образом появился в дверях столовой. Повар увидел это и с воплем убежал. Все это было к лучшему. Однако, что касается нас, то мы пока что ничего не добились. Молодой врач произвел новое измерение артериального давления с помощью своего аппарата для сравнения и обсудил его результат с доктором фон Шренком. Пятнадцать минут. Барон подписал разрешение на возобновление заседания.

Я был уверен, что Вилли специально устроил паузу, чтобы сменить управление, и поэтому настоял на том, чтобы уступить свой кабинет. Но наш хозяин и слышать об этом не хотел. Нет, нет. Мы не должны уступать всем маленьким прихотям Минны. Ради того впечатления, которое я должен был произвести, было необходимо, чтобы медиум был в моем личном ведении. Но я мог бы занять второе место, принадлежавшее фрау П., а первое отдать кому-нибудь другому, либо герру Райхеру, либо герру фон К. *Better Herr von K.* “Бросьте, герр фон К. Тебе всегда удастся вытянуть это из нее.

Фон К. был польским художником, человеком с грубоватым и сердечным голосом. У него был прямой и энергичный характер и любимое средство медиума контролировать ситуацию. Когда казалось, что сеанс, скорее всего, провалится, они всегда обращались к нему. Он держал Вилли за руку и подбадривал его с сердечностью, секретом которой владел он один; и почти всегда что-то происходило. “*Grüss’ Gott, Minna!* Старые друзья снова вместе, это прекрасно, я думаю, и ты наверняка думаешь то же самое? Ты хочешь, а? Верно... О— Но послушай меня, не так сильно! Ты вывихнешь мне плечо. Минна, ты меня так любишь? Вот так. Вилли требует чего-то подобного и почти всегда реагирует на это. Вскоре после того, как снова загорелся красный огонек, он впал в магнетический транс. Музыкальная шкатулка зазвенела, заиграла гармошка. Лежанка продолжалась.

Мое положение было неловким, я был согнут, мне не на что было опереться; но я схватился за запястья Вилли, забыв обо всем остальном, и был потрясен его борьбой. Он дергает нас туда-сюда, он качается и дрожит, мечется и корчится, шепчет с пеной на губах: “Говорите, говорите!” “Цепь, цепь!” “Цепь”, - повторяет преданный фон К. “Конечно, моя Минна может попросить, чтобы круг был должным образом замкнут!” Чем дольше мы сидим, тем усерднее нам приходится поддерживать иссякающий разговор. Барон поощряет нас. “Говорите, джентльмены. Профессор Г., вы собираетесь спать. Герр Манн, вы разговариваете? “Да, барон, я говорю так настойчиво, как только могу”. Публика берет себя в руки и произносит самую пустую болтовню в темноте. Райхер, актер, помогает себе звучным “*Грубее, грубее!*” Музыка вызывает боль. Мы до слез устали от единственной звенящей мелодии музыкальной шкатулки, но когда заиграет гармошка с хрипом и пыхтением, нам снова захочется безобидного позвякивания. Если Вилли тяжело, то нам нелегко. После антракта прошел еще почти час. У меня болит спина, но я не обращаю на это внимания. Медиум выходит из глубокого транса. Он сильно дергается и, кажется, пытается что-то вытеснить с помощью наклонов и выпадов. “Браво, Минна”, - уговаривает ее фон К. “Ты на пути, мы все это видим. Тебе нужно только ухватиться, это будет чудесно, ты будешь нравиться мне в два раза сильнее”. Тщетно. Ни малейшего признака. Даже уговоры герра фон К. безрезультатны. Смирение проникает во все наши сердца. Что касается меня, то я чувствую, что мне не везет с тайнами. Я продолжу, как и

прежде, допуская возможность всевозможных событий; но я ничего не увижу. Что ж, тем хуже для меня. Убеденные материалисты проводили здесь вечера. Так же как и открытые враги, протестующие против того, что все это было уловкой. Так же как и вспыльчивые физики с их настойчивостью в отношении законов природы. И все до единого пришли, посмотрели и ушли, поколебав свой так называемый скептицизм. Принимая во внимание, что мой скептицизм, который по сравнению с их верой является верой ни в что и во все — как мне назвать это? — окажется по существу непродуктивным, нигилистическим. Легкая, ни с чем не спутаемая горечь охватывает меня. Что ж, в любом случае, впечатления от вечера стоили того, чтобы их забрать.

Наш хозяин прибегает к последнему средству. Он переходит на повышенный тон и говорит: “Теперь, Минна, давай будем справедливы. Мы сидим здесь уже более двух часов, и нельзя сказать, что мы были нетерпеливы. Но всему есть предел. Мы дадим вам еще пять-десять минут, а потом, если ничего не произойдет, мы объявим привал, и эти джентльмены разойдутся по домам, и некоторые из них наверняка подумают, что вы ничего не можете сделать. Они не поверят в ваши силы и скажут об этом, и скептики будут довольны”. — “Нет, нет”, - говорит фон К. и присоединяется к барону, делая вид, что противоречит ему. “Нет, герр барон, не говорите так - разве она не собирается это сделать? Она лучше всех знает, что делает, как и моя Минна; она протягивает свою маленькую ручку, и когда она вытягивает ее достаточно далеко — э, что ты сказал? Хочешь, чтобы музыку прекратили? Что ты сказала, Минна, дорогая?”

Медиум прервал его шепотом. Музыка стихла, мы все замерли. Снова раздается болезненное заикание: “Носовой платок!”

“Носовой платок, ” авторитетно повторяет герр фон К. “Она точно знает, что делает; она собирается сделать это для нас, моя маленькая Минна!”

“Конечно”, - говорит барон. “Если это все, то вот носовой платок”. Он достает из кармана большую свежую сигарету, держит ее за уголок и бросает на пол возле стола, где она и лежит, белея в сумерках. Мы все наклоняемся и смотрим на него.

“Отодвинь стол подальше, ” шепчет Вилли. Он закрывает лицо руками. Это правильно? “Нет, не так. Он не может видеть, но во сне он знает, что происходит, и что что-то идет не так, как он хотел бы. Нетерпеливо, как будто он видел, он говорит барону, что делать. Он хочет, чтобы стол был подальше, сначала немного левее, а затем ближе к нашему хозяину. Вот так. Правильно. Теперь между столом и носовым платком больше места. “Круг”, - шепчет Вилли; мы сжимаем руки друг друга. “Говори”, - шепчет он, и мы спешим подчиниться. Я начинаю нести какую-то чушь своему соседу поляку, я поворачиваю голову и начинаю говорить, когда слышу, как кто-то говорит с искусственным спокойствием: “Это приближается”. Я резко поворачиваю голову.

Вы знаете это место в “*Лознгрине*”, в первом акте, после молитвы Элса, когда хор начинает в унисон: “*Seht! Welch seltsam Wunder!*” Все было именно так. Платок поднялся. Он поднялся с пола. На наших глазах быстрым, уверенным, живым, почти красивым движением она поднялась из тени в лучи света, которые окрасили ее в красноватый цвет; я говорю “роза”, но “роза” - это не то слово. Дело было не в том, что он был поднят ввысь, пустой и трепещущей. Скорее, ее взяли и подняли, в ней чувствовалась активная сила, как в руке, можно было разглядеть очертания костяшек, с которых она свисала складками; ею манипулировало изнутри какое-то живое существо, сжимало, встряхивало, заставляло менять ее форму за те две-три секунды, в течение

которых ее держали в свете лампы. Затем, двигаясь с той же спокойной уверенностью, он вернулся на пол.

Это было невозможно - но это случилось. Пусть молния поразит меня, если я лгу. Перед моими неиспорченными глазами, которые были бы точно так же готовы ничего не видеть, если бы там ничего не было, это произошло. Действительно, вскоре это произошло снова. Едва носовой платок коснулся пола, как он снова появился на свету, на этот раз быстрее, чем раньше; ясно и безошибочно мы увидели, как что-то сжимает его изнутри, члены чего-то, что его держало - оно выглядело уже человеческой руки, больше похожим на коготь. Вниз, и снова вверх, в третий раз вверх. Что-то внутри носового платка сильно встряхнуло его и швырнуло в сторону стола, не целясь, так как он повис за один угол, а затем упал на пол.

Громкие аплодисменты и "Да здравствует Минна". Несколько раз барон наклонялся ко мне, чтобы спросить, вижу ли я, все ли мне ясно. Я, конечно, так и сделал; как быя мог с этим поделаться, если бы не закрыл глаза? А я никогда в жизни не держал их так широко открытыми. Я видел на этой земле вещи более великие, более прекрасные, более достойные восхищения. Но никогда прежде я не видел, чтобы невозможное происходило, несмотря на его собственную невозможность; и поэтому я продолжал говорить довольно дрожащим голосом: "Очень хорошо, очень хорошо!" хотя сам я чувствовал что угодно, только не хорошее. Здесь я сидел, держа в своих собственных руках запястья Вилли в их трикотажных рукавах; в то время как прямо рядом со мной я видел его колени, удерживаемые Шестом. Ни мысли, ни представления, ни тенивозможности, что спящий здесь мальчик мог сделать то, что там происходило. А кто еще? Никто. И все же это было сделано. У меня возникло неприятное чувство.

Поднятие носового платка, как я слышал, было обычным вступительным феноменом. Чары были разрушены. Медиум, который был странно спокоен во время этих событий, сел, дрожа, и прошептал: "Убери музыкальную шкатулку. Колокольчик". "Колокольчик!" - с энтузиазмом восклицает фон К.. "Где колокольчик моей Минны? Колокольчик на корзинке! Отлично, теперь мы снова отправляемся!" Барон повинуетеся. Он забирает музыкальную шкатулку и кладет колокольчик в корзину для бумаг, его ленты поблескивают в сумерках, а металл отсвечивает красным. Вилли подносит свои и наши руки ко лбу. Он вздыхает. Затем колокольчик берется — невозможно, конечно, но берется — рукой, ибо кто еще может взять колокольчик за ручку? Подхваченный, поднятый, высоко и наклонно, сильно зазвеневший, описавший в воздухе дугу, снова зазвеневший, а затем с размаху и грохотом брошенный под стул одного из зрителей.

Легкая морская болезнь. Глубокое изумление с оттенком не ужаса, а отвращения. Похвалы Минне звучат громко и непрестанно. "Невероятно!" - восклицает одна из послушниц. Ее голова — о чем я говорю? Я имею в виду его голову, голову Вилли — наклоняется ко мне, как маленький ребенок, он прижимается своим виском к моему. Хороший парень, славный парень! Ты сотворил чудо. Потрясенный и почтительный, я позволяю его голове прижаться к моей. Но барон говорит:

"Вот, Минна, кое-что новенькое для тебя. Ты его еще не видела, но им довольно легко пользоваться. Это звонок. Нажимаешь на него, ударяешь сверху, видишь. Вот так. Потом он звонит. Сделай это, Минна. Вот колокольчик."

И он кладет его на корзину. Напряженное ожидание. Сразу же мы слышим какое-то ощущение вокруг колокольчика, как будто пальцы неуверенно прикасаются к нему. Они берут его в руки, слегка встряхивают; он звенит, но не так, как надо.

“Не так”, - говорит барон. “Ты не понимаешь. Позволь мне показать тебе. Вот, как это делается”. Он нажимает на кнопку. “Круг”, - шепчет Вилли, дрожа, у моей щеки. Но барон не может одновременно сделать круг и ударить в колокол. Он просит Минну осознать это. Едва он возвращается на свое место, как снова начинаются перебирание пальцами. Наконец трюк удался. Пальцы ударяют по колокольчику сверху, слабо, как у ребенка; но задача определенно выполнена. Раздается хлопок.

“Браво, Минна!” - кричит публика. “Фантастика!” - восклицает кто-то. Но у нас нет времени отдаваться своим ощущениям, потому что за этим следует нечто большее. Едва барон убирает колокольчик, как корзина начинает двигаться. Что-то сбивает его, он шатается и опрокидывается; затем его поднимают с пола и держат высоко в воздухе. Он висит там косо и неустойчиво в красном свете, очерченный светящимися лентами, в течение трех или четырех секунд, затем падает на пол.

“Вы это видели? Вы это видели?” - с гордостью спрашивает барон. Признаемся, мы впечатлены. Вилли свисает боком со своего стула, пребывая в глубоком трансе. Несомненно, мужчина нуждается в глубоком сне без сновидений после такого интенсивного сна, что его события фактически проецируются вовне! Подожди. Дай мне подумать. Позвольте мне замкнуться в себе и попытаться угадать, где может быть тот момент, когда волшебный момент, в который картинка из сна объективируется и становится пространственной реальностью, пред глазами других людей. Тошнота. Очевидно, что этот момент не лежит в плоскости нашего сознания или законов познания в том виде, в каком мы их знаем. Если где-нибудь и находится, то в том состоянии, в котором я вижу этого парня сейчас перед собой, и которое, безусловно, является воротами — куда? За дом, за мир?... Но я признаю, что это вообще не мышление — всего лишь легкая форма морской болезни.

Чтобы все снова пошло своим чередом, барон заводит музыкальную шкатулку. Он также меняет управление. Нас с Фон К. отпускают. Я ощупью пробираюсь в темноте к другому концу цепочки и нахожу место рядом с Райхером, который сидит рядом с моим ведущим. Передо мной маленький столик. И едва я усаживаюсь на свой стул, а мои соседи берутся за руки, как на музыкальной шкатулке, стоящей на столе, начинают перебирать пальцами. Барон спешит остановить музыку. И в тишине, перед моими глазами, которые вообще ничего не видят, возникает какое-то царапанье, шуршание и таинственное ощущение - я пытаюсь повернуть ручку инструмента. Ах, ты, глубокое и извечно застенчивое создание, состоящее из мечты и материи, что ты делаешь там, у нас под носом? Щелчок, ручка повернута, работа идет по кругу. “Прикажите ему остановиться”, - говорит барон. По моей команде он останавливается. “Продолжайте”, - говорю я. И играет музыка. Это повторяется несколько раз. Ты сидишь там, наклонившись вперед, ты приказываешь невозможному, и тебе повинуется призрак, охваченное паникой маленькое чудовище из-за пределов мира

Пауза. Затем возникает разнообразная активность среди световых колец на полу. Их толкают туда-сюда, перекидывают с места на место. Один поднимается с пола со свисающей вниз блестящей веревочкой. Его поднимают, проносят сквозь пространство, подносят к столу, где он хочет, чтобы его опустили, и делают это с неуклюжестью, которая может навести на мысль, что

его движущая сила была слепа. Но, вероятно, это существо робкое, боящееся быть замеченным, боящееся зайти слишком далеко в круг света лампы на столе. Кольцо перемещается к ближайшему углу стола незаметным толчком, заставляющим войлок царапать по дереву. Оно просто балансирует. В то же время предмет в своем слепом, неуклюжем трепете так сильно ударяется о стол, что тот трясется. Тут, тут, ты, рыба, вытасненная из воды, зачем и какими чудовищными костяшками пальцев ты вот так стучишь по нашему доброму столу, у нас на глазах? Как только я думаю об этом, хлоп, кольцо летит мне в лицо. Кто-то швырнул его в меня, оно падает мне на колено, а оттуда к ногам. Какой игривый монстр! Мы все смеемся. Но мы испытываем не веселье, а скорее что-то вроде замирания от леденящего душу высокомерия того или иного существа, которое, возможно, является всего лишь удручающе сложным видом надувательства. Но, как я уже сказал, цивилизованный. Он не швырнул музыкальную шкатулку мне в лицо, а тактично выбрал одно из мягких маленьких колец. Людям надавали по ушам и разыгрывали другие розыгрыши, например, расшнуровывали ботинки. У кого-то сняли наручные часы и носили по комнате. Но никто, как единодушно утверждает, никогда не терпел какого-либо серьезного вреда от этих сил, и это свидетельствует о здравом смысле и достойных чувствах. С другой стороны, они явно склонны к деморализации, разыгрыванию глупых трюков и немотивированной демонстрации силы. Необходимость постоянного надзора, руководства и направленности очевидна — как, например, когда агентство теперь с большой настойчивостью взялось за работу, чтобы опрокинуть музыкальную шкатулку, стоящую на столе. Барон беспокоился за свой инструмент и умолял Минну избавить его от душераздирающих хлопот, которых в наши дни стоят любые ремонтные работы. Напрасно. “Оно” упрямо продолжало переворачивать коробку, на которой лежали грифельная доска и грифельный карандаш, также подвергаясь опасности сломаться.

Нужно было чем-то отвлечься, и барон подумал о пишущей машинке, которая стояла на полу перед занавеской с вставленной бумагой, готовой к использованию. “Пиши, Минна”, - сказал он. “Сделай что-нибудь полезное. Мы выслушаем вас, а затем у нас будет письменное подтверждение того, что мы не загипнотизированы, как говорят некоторые из ваших врагов”. Существо, кажется, способно прислушаться к голосу разума, оно прекращает свои попытки добраться до ящика. Мы ждем. И, клянусь честью, пишущая машинка начинает щелкать там, на полу. Это безумие. Даже после всего, что мы уже видели, это в высшей степени поразительно, сбивает с толку, нелепо; фантастичность происходящего даже завораживает. Кто пишет на машинке? Никто. Никто не лежит там на ковре в темноте и не играет на машинке, но на ней играют. Руки и ноги Вилли крепко скованы. Даже если бы он смог высвободить руку, он не смог бы дотянуться ею до машины; а что касается его ног, то даже если бы они смогли дотянуться так далеко, они не смогли бы коснуться отдельных элементов на машине, они наступили бы на несколько сразу. Нет, это не Вилли. Но больше никого нет. Что еще нам остается, кроме как качать головами и смеяться? Запись выполняется правильным касанием, рука, безусловно, касается клавиш - но действительно ли это только одна рука? Нет, если хотите знать мое мнение, то здесь наверняка две руки; звуки слишком быстры для одной, они звучат так, как будто исходят из пальцев опытной машинистки; мы подходим к концу строки, звенит звонок, мы слышим, как отъезжает каретка, начинается новая строка — звук обрывается, и наступает пауза.

Затем несколько дальше, на темном фоне занавеса, внезапно, стремительно и мимолетно появилось следующее маленькое видение. Появляется что-то длинное, расплывчатое и бело мерцающее; по размеру и общей форме напоминает человеческое предплечье со сжатым

кулаком - но не совсем узнаваемое как таковое. Он появляется и исчезает, появляясь перед нашими глазами, освещаемый чем—то вроде вспышки белой молнии, которая исходит из его собственной правой стороны и полностью затемняет любую форму, которую он имеет, - затем он исчезает.

“Вот, для вас материализация”, - говорит наш ведущий, указывая на нее. “Я рад, что вы ее увидели. Подожди, может быть, это произведет на нас впечатление”. И он умоляет Минну опустить руку в тарелку с мукой, стоящую на столе. Но я ни на минуту не верил, что она это сделает, и она этого не сделала, мы ждали напрасно. На столе было довольно светло, призрак слишком беззащитно предстал бы перед нашим взором, и это ни в малейшей степени не соответствовало тому представлению, которое я составил себе о застенчивом, хитром, скрытном, двусмысленном характере нашего неуловимого гостя: персонаже слишком незначительном, чтобы иметь злой умысел, напротив, вероятно, вполне благонамеренном, но слабовольном и смущенном.—Больше ничего не происходило. Общая усталость, казалось, сказалась. Вилли прошептал: “Счастливого Рождества!” Заседание закончилось.

Было странно видеть в ярком белом свете войлочное кольцо, лежащее у моих ног там, где ему не полагалось быть. Примечательно также наблюдать напечатанный на машинке текст - совершенно бессмысленную мешанину больших и маленьких букв; вероятно, все было бы иначе, если бы Вилли сам умел печатать. Он все еще лежал, пьяный ото сна, привалившись боком к ручке одного из пультов управления. Я подошел к нему, похлопал по плечу и сказал, что это была блестящая встреча. Он тупо посмотрел на меня своими сонными глазами, и на его лице появилась добродушная, немного грустная улыбка.

Мы группами вернулись в библиотеку, оживленнообсуждая увиденное. Был подан чай, который принес всем нам много пользы. Вечер завершился сценическими историями в исполнении Райхера.

Итак, что же я увидел? Две трети моих читателей ответят: мошенничество, ловкость рук, обман. Когда-нибудь, когда наши знания в этих вопросах расширятся, эта область станет популярной, и они будут отрицать, что таково было их суждение. Даже сейчас, и даже если они принимают меня за легкого и внушаемого любителя причуд, свидетельства опытных экспериментаторов, таких как французский ученый Гюстав Гели, должны сделать их менее бойкими. Гели завершает свой отчет категорическим заявлением: “Я не просто говорю, что на этих заседаниях не было никакого обмана; я говорю, что возможность обмана была исключена”. Это абсолютно моя собственная позиция. Я нахожусь в том интригующем и сбивающем толку состоянии ума, в котором разум повелевает нам признать то, что разум, с другой стороны, отверг бы как невозможное. Природа описанных мною явлений неизбежно приводит к тому, что идея обмана впоследствии будет преследовать умы даже тех, кто видел это собственными глазами; только для того, чтобы снова и снова подтверждаться свидетельствами чувств, размышлениями о том, что обман был определенно невозможен.

Но, на это могут возразить, три четверти всех медиумов являются мошенниками и были разоблачены как таковые.— Это факт, приводящий в замешательство; тем более что во многих из этих случаев, я бы даже сказал, в большинстве из них, *dolus*, намерение обмануть, отсутствует. Я убежден, что даже наш добрый Вилли, будь у него такая возможность, занялся бы

фокусами-покусами и тем самым серьезно скомпрометировал бы свое положение; ибо вполне возможно, что в своем сне он не делает различия между тем, что он делает своей рукой, и тем, что “другими” способами; и, движимый вполне понятным желанием произвести эффект, он мог бы, если бы был “неконтролируемым”, взяться за эксперименты, быть обнаруженным и таким образом дискредитировать их. И это не было бы никаким доказательством против подлинности оккультных феноменов, которые происходили, когда он находился под надежным арестом.

Все это дело, каким бы пустяковым оно ни выглядело на первый взгляд, достаточно серьезно, чтобы требовать объяснений в серьезном и даже торжественном ключе. Увидев то, что я видел, я считаю своим долгом засвидетельствовать, что в экспериментах, во время которых я присутствовал, любой механический обман или ловкость рук были по-человечески невозможны. Некоторые могут счесть такое свидетельство безрассудным; и наш разум даже обязывает и вынуждает нас поступать так; ибо мы немедленно начинаем изворачиваться, чтобы найти промежуточный выход, с помощью которого мы можем каким-то образом, даже словесно, избежать альтернативы обмана или реальности. “Заблуждение” - это такое слово; сама его расплывчатость помогает, мешая нам заглянуть в суть происходящего. В нем смешаны две концепции реальности и обмана, и, возможно, это смешение имеет больше оснований, чем мы думаем, и менее странно по своей природе, чем для наших непосредственных процессов мышления. Тогда я скажу, что то, что я видел, имело отношение к оккультному заблуждению в области органической жизни; к ошеломляюще глубоким и нечеловеческим комплексам, одновременно примитивным и запутанным. Они, недостойные по своей природе и тривиальные в своей деятельности, как таковые, хорошо рассчитаны на то, чтобы оскорбить наше гордое эстетическое чувство, но отрицать их ненормальную реальность было бы не чем иным, как неразумным упрямством.

Более того, научное исследование этих явлений уже не находится в зачаточном состоянии. Наука, по крайней мере, зашла так далеко, что изобрела терминологию, с помощью которой можно прилично выражаться по этому предмету. То, что я видел, было “телекинетическими” явлениями, явлениями движения на расстоянии. Этот конкретный медиум, молодой Вилли С., особенно силен в создании такого рода проявлений, которые по своему происхождению тесно связаны с оккультным природным феноменом материализации — другими словами, временной организацией энергии вне медиального организма, ее *экстериоризацией*, так сказать. Среди здравомыслящих людей принято считать, что агент, который выполняет описанные мной трюки - раскачивание колокольчика, поднятие носового платка, печатание на машинке, - это не спиритический “интеллект” по имени Минна, и это не Аристотель или Наполеон, а сам частично экстериоризированный медиум. Но даже это не делает нашу проблему более доступной для разума. Напротив, популярная спиритуалистическая гипотеза намного яснее и проще научной; в то время как что касается проблемы экстериоризации и материализации, то чем дольше на нее смотришь, тем больше в ней обнаруживается сложности, явно рассчитанной на то, чтобы поиздеваться над человеческим интеллектом. Что неудивительно — учитывая, что, в конце концов, это связано с предположительно не оккультной проблемой самой жизни!

“То, что управляет жизнью, - писал Клод Бернар, - не является ни химией, ни физикой, ни чем-либо подобным; это идеальный принцип жизненного процесса”. Странно неопределенное высказывание для великого ученого, вдобавок француза; высказывание, которое смутно нащупывает тайну и показывает, что именно великий мир науки никогда не теряет внутреннего чувства тайны; и что только рядовые сотрудники подвергаются опасности научной темноты, не

осознавая, насколько неполными, насколько смешанными с тайной — и загадками, возможно, никогда не подлежащими разгадке, — являются все их точные знания о природе, жизни и ее функциях. Сегодня в мире оккультизма принято как установленный факт, что действенный и формирующий принцип, действующий в психологических процессах, в определенных случаях принимает “телепластический” характер: другими словами, он выходит за пределы организма и действует вне его, “эктопластически”. То есть, он вызывает к временному существованию из экстериоризированной органической базовой субстанции (внешний вид и форма которой уже наблюдались с некоторой степенью точности) формы, конечности, органы тела, особенно руки, которые обладают всеми свойствами и функциями нормальных, физиологических, биологически живых органов. Эти телепластические конечные органы, по-видимому, свободно перемещаются в пространстве, но, насколько можно наблюдать, имеют тесную физиологическую и психологическую связь с медиумом таким образом, что любое впечатление, полученное через телеплазму, оказывает свое воздействие на медиальный организм, и наоборот. Здесь мы видим сверхнормальную физиологию, соперничающую с нормальной, чтобы засвидетельствовать единство органической субстанции. Жидкость различной степени плотности покидает тело медиума в виде аморфной, неорганизованной массы; принимает форму различных телепластических органов, рук, ног, голов и так далее; и после краткого существования в этой форме, в течение которого, однако, она проявляет все атрибуты живой субстанции, растворяется и реабсорбируется в медиальном организме. И эта жидкость, эта субстанция, этот субстрат различных органических образований однороден, недифференцирован; не существует такой вещи, как костная субстанция, которая отличалась бы от мышечной, внутренней или нервной; есть только одна субстанция, основа и субстрат органической жизни.

Вероятно, все аргументированные размышления и разговоры в этой в высшей степени спекулятивной области фактов сегодня преждевременны и могут только казаться проясняющими, не делая этого. Но одно несомненно: мы будем совершенно неадекватно думать и говорить о феноменах материализации, как о загадке жизни в целом, если будем рассматривать их только с физической и материальной стороны, а не также и с психической. Именно Гегель сказал, что идея, дух, является конечным источником всех явлений; и, возможно, сверхнормальная физиология более, чем обычно, способна продемонстрировать это утверждение. Да, он ставит философскую демонстрацию первичности идеи, идеального происхождения всей реальности рядом с биологической демонстрацией единства всей органической жизни.

Совершенно необразованный и под свою личную ответственность, я объяснил телекинетические феномены как магически объективированные сны медиума. И литература по предмету подтверждает мое объяснение; с внушающим благоговейный трепет использованием технических терминов в ней объясняется, что *идея* феномена, присутствующая в подсознании сомнамбулы, более того, смешанная с идеей других присутствующих людей, с помощью психофизической энергии “эктопластически” перемещается, посредством биопсихической проекции, на определенное расстояние и запечатлевается, то есть “объективируется”. Другими словами, мы призываем на помощь неизученную *идеопластическую* способность, которой обладает медиальная конституция. Идеопластика — слово и концепция платонической силы и очарования, не лишённые лъстивого пристрастия к уху художника, который отныне будет готов характеризовать не только свою собственную работу, но и вселенскую реальность как идеопластические явления. И все же это слово и концепция столь же мутных глубин, как и само

слово “бред”, и, благодаря своей сводящей с ума смеси элементов реального и сновидения, ведущая прямиком к болезненному и абсурдному.

Позвольте мне в заключение привести один-единственный, но поразительный пример. Нас неоднократно убеждали, что идеопластические образования в то время, в течение которого они присутствуют, обладают всеми характеристиками реальной жизни. Когда они были в хорошем настроении, они не только позволяли увидеть себя и прикоснуться к себе, и их объективная реальность устанавливалась фотографией и аппаратурой, регистрировавшей их телекинетические действия; но и делали гипсовые слепки, а руки трансцендентного происхождения уговаривали окунуться в тазы с теплой водой, на поверхности которой плавал расплавленный воск. Таким образом, вокруг элемента spirit была сформирована форма, которая затвердела под воздействием воздуха. Из такой формы ни одна человеческая рука не смогла бы выбраться, не сломав форму. Но телепластический орган освобождается путем дематериализации, и экспериментаторы заливают парижский гипс в восковую перчатку и таким образом получают слепок материализованного органа, который должен соответствовать ему во всех деталях. Следует отметить, что полученные таким образом слепки не имеют никакого сходства по форме или линиям ни с руками медиума, ни с руками кого-либо еще из присутствующих. Так вот, на одном из сеансов Вилли произошла следующая совершенно безумная вещь (и не единственная в своем роде). Медиум находился под самым тщательным контролем, и сверху и сзади появилась фигура, похожая на руку, которая показалась над куском серой глины на маленьком столике. У него было предплечье, освещенное розовым светом, и оно парило над поверхностью глины, на которой после сидения были обнаружены шесть плоских отпечатков на ранее гладкой поверхности. Но у основания мизинца Вилли на левой руке и на тыльной стороне безымянного пальца той же руки *были следы глины*.

Теперь я спрашиваю природу и дух, я вопрошаю разум и логику на ее троне: как, когда и откуда взялась глина на пальцах Вилли?

Нет, я больше не пойду к герру фон Шренк-Нотцингу. Это ни к чему не приведет, или, по крайней мере, ни к чему хорошему. Я люблю то, что я назвал нравственным высшим миром, я люблю человеческую басню и ясную и гуманную мысль. Я ненавижу вывихи мозга, я ненавижу трясину духа. Действительно, до сих пор я видел лишь несколько случайных искр от адских пожаров — но этого мне должно быть достаточно. Конечно, я хотел бы держать, как держали другие, в своей руке подобную руку, метафизическое заблуждение из плоти и крови. И, возможно, мне, как и другим, показалась бы голова Минны над плечом спящего Вилли: голова очаровательной девушки славянского типа с живыми черными глазами. Это, каким бы сверхъестественным это ни было, должно быть, замечательный опыт.... В конце концов, я попробую еще раз или около того с герром фон Шренк-Нотцингом; два или три раза, не больше. Это не могло бы причинить мне вреда; и я знаю себя, я человек эфемерных страстей; я позабочусь о том, чтобы это ни к чему не привело, и навсегда выброшу все это из головы. Нет, я не пойду туда два или три раза, я пойду только один раз, только еще раз, и больше никогда. Я только хочу увидеть, как платок поднимется в красном свете перед моими глазами. Это зрелище каким-то образом проникло в мою кровь, и я не могу его забыть. Я хотел бы еще раз вытянуть шею и, когда нервы моего пищеварительного аппарата будут на пределе от фантастичности происходящего, еще раз, всего один раз, увидеть, как свершается невозможное.

Томас Манн - один из действительно великих современных литераторов. Однако сам он категорически негодует, когда его называют “писателем”, и настаивает на том, чтобы считать себя вовсе не “художником”, а всего лишь “добропорядочным буржуа, случайно попавшим в литературу”. Для Манна это не просто двусмысленность в терминах; скорее, это отражает саму суть его философии, раскрывающуюся в его работах, проистекающую из глубоко укоренившегося убеждения, что интеллектуальный тип - это не идеал, к которому движется эволюция, а, напротив, человек действия. Действительно, все творчество Манна, от эпохальных “Будденброков” его юности до “Волшебной горы”, шедевра его зрелости, представляет собой наиболее продуманное в литературе неприятие “интеллектуала” как нездорового нароста на основной массе человечества; но хотя эта тема доминирует в работах Манна, это всего лишь алая нить в его замысле, который в целом включает в себя не что иное, как самую глубокую критику современного мира, которой когда-либо удостаивался какой-либо романист.

Эта книга была напечатана на линоTYPE фирмы Bodoni электротипом, отпечатана и переплетена издательством Plimpton Press, Норвуд, Массачусетс. Статья подготовлена компанией S. D. Warren Co., Бостон